АЗБУКА ВЕРЫ

(Невидимов) Тихон, архимандрит

Встречи с Достоевским

Художественная литература · azbyka.ru

Встречи с Достоевским – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/vstrechi-s-dostoevskim

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Встречи с Достоевским

(Невидимов) Тихон, архимандрит

Встреча на Банковском мосту

Ноябрь, ночь, туман такой густой, что фонари тонут в нём, как в молоке. Я стою на горбу Банковского, держусь за холодного грифона и чувствую, как он, железный, впивается мне в ладонь, будто хочет удержать, чтобы я не упал в эту чёрную воду внизу. Один. Совсем один. Ни имени, ни славы, ни масок. Только я и Тот, Кто смотрит прямо в самую середину меня, туда, куда я сам боюсь заглянуть.

Позавчера, на этом же точно месте, подошёл ко мне человек. Молодой ещё, но уже измятый жизнью, глаза красные, губы дрожат. Долго молчал, потом вдруг поднял голову и спросил почти беззвучно:

– … скажите, чем грех от зла отличается? Разве не одно?

И я замер. Потому что это не он спрашивал. Это я спрашивал. Всю жизнь спрашивал, каждым своим героем, каждым надрывом, каждой бессонной ночью. Это я кричал Раскольниковым, когда он топором махал и потом выл, как собака, от ужаса перед самим собой. Это я шептал Иваном, когда он возвращал билет Богу. Это я молчал Ставрогиным, когда тот уже не мог ни плакать, ни смеяться, потому что внутри всё выгорело дотла.

И вот стою я на мосту и понимаю: отвечать надо не ему. Себе отвечать. Сейчас. Пока сердце ещё стучит, пока ещё болит.

Грех… слушай, друг мой, грех – это когда я падаю, потому что ноги не держат. Потому что болен, потому что изранен, потому что тьма вокруг такая густая, что я не вижу края. Это когда я хочу света, хочу до судорог, до крови на губах, а всё равно падаю. Это когда я кричу: «Господи, не могу не грешить!» и плачу, потому что не могу. Это рана живая, кровоточащая. Это когда душа ещё жива, ещё страдает, ещё стонет. Это стон живой души, которая ещё не умерла, которая ещё помнит, Кем она сотворена.

А зло… зло – другое. Зло – это когда я уже не падаешь, а прыгаешь. Когда уже не стонешь, а улыбаешься. Когда уже не «не могу не грешить», а «хочу грешить». Когда грех уже не рана, а наслаждение. Когда ты уже не жертва страстей, а их хозяин. Когда ты уже не плачешь над разбитой жизнью, а гордишься ею. Когда ты уже не ищешь Бога, а объявляешь: «Я сам бог».

Я знаю и это состояние. Я жил в нём. Я писал его. Я был им.

Помнишь Ставрогина? Он уже не падал. Он уже не страдал. Он уже не плакал. Он смотрел на свои мерзости холодными глазами и говорил: «Ничего, всё позволено». Он уже не грешник был. Он был демон в человеческом теле. Он уже не раненый. Он был палач. И хуже всего – палач самого себя. Он уже не просил исцеления. Он уже не хотел света. Он хотел остаться во тьме, потому что тьма стала ему родной.

Или Свидригайлов. Помнишь? Тот смеялся. Тот наслаждался. Тот уже не каялся. Тот уже не дрожал. Он уже не человек был. Он был дыра, в которую всё проваливалось.

Вот она, грань. Тонкая, как лезвие. Почти невидимая. Но вечная.

Грех ещё плачет. Зло уже не плачет никогда.

Грех ещё стыдится. Зло уже гордится.

Грех ещё шепчет: «Прости меня». Зло всегда говорит: «Я прав».

Грех ещё может стать святым – вспомни Марию Египетскую, вспомни разбойника на кресте. Зло уже не может. Как бесы. Оно уже выбрало. Окончательно. Навсегда.

И самое страшное – переход. Медленный, незаметный. Сначала: «Ничего страшного». Потом: «Все так делают». Потом: «Я имею право». Потом: «Это не грех». Потом: «Это добро». Потом – молчание. Потом – смех. Потом – пустые глаза.

И вот я спрашиваю себя, здесь, на этом проклятом мосту, в этой ноябрьской сырости, под взглядом железного грифона:

– Господи… а я где? Я ещё плачу или уже научился смеяться над слезами? Я ещё стыжусь или уже горжусь? Я ещё раненый или уже палач? Я ещё Твой или уже сам себе бог?

И вдруг… слышишь ли, друг мой… вдруг такая тишина сделалась, что даже Невы не слышно. И будто не голос, а прямо в сердце, тихо, до слёз, до дрожи:

– Ты плачешь. Значит – ещё Мой. Очень ранен, очень измучен, очень изломан… но плачешь. А значит – жив.

И тебе, друг мой, тебе, говорю:

Беги к Нему. Прямо сейчас. Он ждёт. Он всегда ждёт тех, кто ещё плачет. Только не медли. Потому что завтра может не болеть. Завтра может стать легко. Завтра можно научиться не плакать.

Вот ведь в чём беда: мы, люди, с младенчества лжём прежде всего самим себе.

Скажу вам откровенно, как на исповеди, хотя и знаю – откровенность моя всего лишь жалкая попытка укрыться за словом, будто щитом от самой истины. В тот вечер, когда я брёл по Васильевскому острову, по ветреным и сырым его переулкам, сердце моё было в смятении. Серость ноябрьского петербургского неба нависала так низко, что казалось – ещё немного, и она раздавит меня, как совесть, которую я запирал в себе долгие годы. А ведь странно: человек ищет правды, но боится, как вора, застигнутого на месте преступления.

Когда я подошёл к реке, та лежала мутная, тёмная, точно человеческая душа, взболтанная непогожими мыслями. Я остановился на мосту – и тут же поймал себя на том, что не хочу смотреть в её холодную, неподкупную глубину: будто увижу там что-то, от чего буду отшатнуться. Как будто она, вода эта невзрачная, могла стать зеркалом моей внутренней кривды.

Вот ведь в чём беда: мы, люди, с младенчества лжём прежде всего самим себе. Не другим – им-то мы врём из привычки; но себе – из страха. Мы боимся увидеть собственное лицо не таким, каким его нарисовало воображение. Человек хочет быть добрым, праведным, честным, а в глубине души знает – там живёт другое. Подпольное. Мрачное. То самое, о котором я боялся даже подумать.

Порою мне кажется – мы живём в двух слоях. Один – наружный: этакая витрина, где мы выставляем себя в удобном виде, чтобы мир, проходя мимо, не слишком уж морщился от нашего вида. Другой – настоящий, внутренний: тот, где человек бьётся в страхе разоблачения. И это не разоблачение перед людьми – о нет! – а перед собой. Перед Богом. Перед той неумолимой правдой, которая, как северный ветер, прорывается в щели души и заставляет вздрогнуть.

Я помню, как однажды – это было зимой, в самый разгар моей нравственной неразберихи – я встретил одного знакомца, человека очень образованного, а при всём том удивительно поверхностного. Он говорил мне: «Правды, брат, никто не хочет. Люди хотят покоя. А правда – это ветер: продувает». Он смеялся, но в смехе его была предательская дрожь. И я тогда подумал: «Да ведь он – как я». В каждом человеке – это двойное бытие: желаемое и действительное.

И вот что особенно меня поражает: сердце наше лжёт не всегда с намерением. Нет, чаще оно врёт по немощи, по привычке. Как ребёнок, который, разбив стакан, вдруг начинает уверять, что это «само упало». Страшно взять на себя ответственность за собственные пороки – будто признав их, мы подпишем себе приговор. Но ведь без признания не бывает исцеления. Зосима говорил мне, что трезвенность – это способность увидеть своё сердце таким, каково оно есть, а не в том виде, в каком тебе хотелось бы его представить.

Пока я стоял на мосту, ветер хватал за полы пальто, трепал и хлестал, словно доказывая мне, что мир не расположен к моим самоуверенным иллюзиям. И вдруг, совершенно неожиданно, я понял простую истину: вся трагедия человека – в разрыве между жаждой света и страхом света. В человеке всегда живёт тень – и мы боимся взглянуть на неё, будто она уничтожит нас. Но разве можно победить то, что ты не смел даже назвать?

Я вспомнил тогда одну сцену из своей юности. Мне было лет семнадцать. Я тогда совершил… да, скажем честно, дурной поступок – и так испугался разоблачения, что несколько дней ходил точно в горячке. Но что удивительно: страшнее всего было не наказание, а мысль, что моё лицо – в собственных глазах – потеряет «правильный» вид. Я боялся увидеть себя подлинного. Ах, как же рано начинается эта комедия самолюбия!

Так и живём: на поверхности – почтенные граждане, благовоспитанные, с мягкой улыбкой и ровной речью. А в глубине – страх. Страх, что правда войдёт без стука и застигнет нас врасплох. И что тогда? Неужели мы рассыплемся?

И в тот момент, стоя над тёмной рекой, я вдруг почувствовал – нет! Правда не разрушает. Разрушает ложь. Правда – это холодный, но целительный воздух. Ею трудно дышать вначале, да; но она очищает. Она словно открывает окошко в душном чердаке, где годами копилась пыль. И дух человеческий, задыхавшийся от притворства, вдруг делает первый свободный вдох.

Я повернулся и пошёл обратно по мосту. На душе стало немного легче. Не потому, что я стал «лучше», нет – такого чуда в один вечер не бывает. Но я признал свою болезнь. А признание – это уже свет, который проникает в щель сердца, как утренняя полоска над крышами Петербурга.

И теперь, когда я пишу эти строки, я знаю одно: духовная трезвенность начинается не с добродетели, а с честности. Хочешь исцелить сердце – перестань его защищать. Оно и так больно. Не прячь его от правды – она не враг ему, а лекарство. И только тогда, когда человек отдаст себя свету – пусть дрожа, пусть с болью – только тогда начнётся в нём подлинная свобода. И мир перестанет быть тенью его страха.

Вот и всё. Но разве этого мало?

Над зелёным сукном

Когда я впервые вошёл в этот игорный дом – далёкий от Петербурга, где-то в безмятежной швейцарской долине, – мне показалось, что попал в странную лабораторию человеческих страстей. Здесь всё было доведено до конца, до крайности, словно именно это место и было придумано для того, чтобы человек увидел свой внутренний хаос как на ладони. И что удивительно – вся эта страсть, жажда, лихорадка, блеск и мрак одновременно – происходили в тихом, почти идиллическом курортном городке, где воздух был настолько чист, что казалось, будто сам Бог дышит неподалёку.

Но стоило мне войти внутрь – и вся эта чистота исчезла, будто её проглотила зелёная ткань рулетки.

Я подошёл к столу, прислушался. Игроки дышали неровно: коротко, хрипло, как будто каждая ставка вырывала у них кусок жизни. В этом дыхании не было ничего человеческого – скорее звериное напряжение, то самое, от которого у человека немеет душа. И, странное дело, я вдруг почувствовал, что мне хочется остаться, всмотреться в каждую деталь, в этот трагический спектакль человеческой природы.

Петербургская привычка к самонаблюдению не отпускает даже здесь.

Рядом со мной стоял молодой человек – бледный, с дрожащей рукой, но с такой страстью в глазах, что казалось, будто он сейчас бросится на стол и вопьётся пальцами в фишки. Он шептал что-то невнятное – то ли молитву, то ли проклятие. И тут я впервые почувствовал к нему странное отвращение. Да, именно отвращение: к его одержимости, к его слепоте, к тому, как один человек может сам себя довести до края.

И тут же – я поймал себя на том, что это отвращение вовсе не христианское чувство.

«Не любишь ты ближнего своего, – сказал я себе. – А говоришь о любви к человечеству».

Это был удар.

Потому что я вдруг понял: я могу часами говорить о любви к миру, к идеям, к высоким понятиям, но стоит рядом появиться конкретный человек – со своими слабостями, глупостями, зависимостями, порывами – как сердце моё сжимается. Я могу любить человечество, потому что оно – абстракция. А сосед по игорному дому – это реальность. И в этой реальности нет красоты, нет идеала. Есть только грязная страсть и дрожащая рука.

Я подошёл ближе к столу. Шум усилился. Крупье раскручивал шарик, и свет от лампы падал на стол так ровно, так торжественно, будто бы здесь происходило не падение человеческих душ, а какое-то состязание небесных сил. Люди стояли вплотную, каждое лицо – маска, каждый жест – судорожный. И тут я заметил ещё одного игрока – седого, плотного, в дорогом сюртуке. Он стоял неподвижно, почти величественно, но глаза его… глаза говорили то, что язык не скажет: он ставил последние деньги. Не просто ставил – бросал в судьбу остаток своей человеческой свободы.

И в этот момент мне вдруг стало жаль его. Но это было жалость – не любовь. Жалость унижает. Любовь – поднимает. А я не поднимал. Я просто смотрел.

Круг людей вокруг стола был похож на кружок тайного братства, в котором каждый молится своему идолу. Идол здесь – Удача. А главный литург – Страсть. Страсть, которая опрокидывает человека в такую глубину эгоизма, что ближний исчезает. Ты видишь только себя – или свою ставку. Любовь к человечеству? Да, возможно. Любовь к ближнему? Никакой.

Я вдруг понял, что это и есть духовная суть игры – не в том, что человек теряет деньги. А в том, что теряет способность видеть другого.

Я отошёл к окну. За стеклом – вечерний свет, мягкий, почти детский. Синие тени ложились на горы, и весь мир казался торжественно спокойным. А внутри – шум, лихорадка, напряжение. И я вдруг понял: игорный дом – это маленькая модель мира без любви.

Внешне – красота.

Внутри – эгоизм.

Игроки здесь напоминают мне тех людей, которые громко говорят о любви к «человечеству» – как о некоем величественном образе, о мечте, о высшей идее. Но попробуй попросить их простить, выслушать, потерпеть одного-единственного человека – и душа их вдруг сжимается. Потому что любить кого-то конкретного – значит выйти из самого себя, перестать смотреть на мир только глазами самого себя.

А страсть – особенно такие глубокие, как игра или разврат – делает человека настолько сосредоточенным на себе, что ближний становится шумом, помехой, раздражением.

Любовь требует внимания. Страсть – поглощения.

Я вернулся к столу, и вдруг мне показалось, что стою перед зеркалом. Не физическим – внутренним. В каждом из этих людей я видел себя: своё желание любить «всех» и нежелание любить «кого-то», своё стремление к идеалам и неспособность дотронуться душой до ближнего.

Христианство – религия ближнего, а не человечества. Христос не говорил: «Возлюби человечество». Он говорил: «Возлюби ближнего». Того, кто стоит рядом. Того, кто неприятен. Того, кто слаб. Того, кто раздражает, кто страдает, кто не знает, что делает.

Играть в любовь легко. Любить – почти невозможно.

Когда я вышел из игорного дома, вечер в долине был прохладен и прозрачен. Ветер доносил запах сосен, и всё вокруг дышало такой чистотой, что становилось стыдно за то, что только что видел – и за то, что видел в себе. Я понял: настоящий игрок – не тот, кто ставит деньги, а тот, кто ставит своё сердце на карту собственных страстей.

И проигрывает в этом – почти всегда.

Так я впервые увидел, что любовь к человечеству может быть величайшим самообманом.

А нелюбовь к одному ближнему – величайшим грехом.

Свобода и Инквизитор

С утра, ещё до рассвета, я вышел на набережную Фонтанки. Петербург дышал своей вечной сыростью, будто и впрямь каждый камень здесь помнит человеческие грехи, переживания и

тайные колебания, о которых никто не решается говорить. Туман, как серое покрывало, ложился на воду, и мне показалось, что весь город пропитан какой-то невидимой тоской – не злой, но давящей, гнетущей, как мысль, от которой не уйдёшь.

Я давно заметил: именно в такой туман душа моя становится особенно открытой для странных вопросов. На вид – обычных, но внутри разламывающих всё человеческое устройство. И вот сегодня, ступая по влажным каменным плитам, я вдруг поймал себя на мысле, что снова возвращаюсь к той самой дилемме, которая мучает меня уже годами: что же страшнее – свобода без Бога или Бог, который будто бы ограничивает свободу?

Петербург любит такие думы. Он словно сам подталкивает к ним: город контрастов, борьбы, скрытого жара под ледяной коркой. Здесь каждый прохожий – маленький подпольный человек, который таит в себе то, чего страшится признать.

Я останавливаюсь на мосту, и сквозь ветреную мглу над водой поднимается один образ – Великий Инквизитор. Да, именно так: не святой старец, не Христос, не кающийся грешник, а он – мрачная фигура, которая, кажется, знает все тайные ходы человеческой души. В тумане образ его стал почти зримым, и я почувствовал знакомую тяжесть: это тот разговор, от которого нельзя уклониться.

Инквизитор – это не выдумка Ивана Карамазова. Нет. Он живёт в каждом из нас. И в каждом петербургском дне, полном невидимых сделок с собственной совестью.

Я помню, как впервые понял: его легенда – не о церкви, не о средневековых кострах, а о человеческом страхе перед свободой. Человек, по мысли Инквизитора, слаб, труслив, ищет не истины, а покоя. И если честно – разве не так? Мне самому порой хочется тихой, устроенной жизни, лишённой тяжких выборов, мучительных сомнений, дикого ветра, который рвёт душу и требует ответа. Мне хочется ясных правил, мягкого и уютного рабства – лишь бы не та страшная свобода, в которой каждый шаг может привести к пропасти.

И я знаю: в эту минуту во мне говорит именно он – тот самый Инквизитор, тёмный старик, который убеждён, что человек не выдержит дара Христа. Он говорит шёпотом: «Тебе не нужна свобода. Ты слаб. Дай мне управлять тобой, и я сниму с тебя ответственность».

И как удивительно, как тонко это проявляется в повседневности!

Когда я оправдываю собственную слабость и называю это смирением – это Инквизитор.

Когда жду, чтобы другие решили за меня, чтобы кто-то определил, что такое добро и зло – это Инквизитор.

Когда ищу покоя, даже ценой правды, – он стоит за моей спиной.

Когда завидую людям, нашедшим себе наставника, который решает всё за них, – это тоже он.

И что ужасно – ведь он не требует от меня ничего злого. Напротив, обещает добро, сытость, стабильность, порядок. Только плати за этот порядок душой. Отдай свободу – и останешься «спокойным».

Но почему тогда внутри меня растёт тревога? Почему каждое слово его, как свинец, ложится на сердце? Почему в эту утреннюю сырость я чувствую, будто иду по краю чего-то страшного, невидимого?

Я стою над Фонтанкой, и ветер свищет, как будто прямо в лицо говорит:

– Не верь ему. Он лжёт. Он не понимает, что такое человек.

И я вдруг понимаю – Христос действительно верит в человека больше, чем мы сами. Ведь Он даровал свободу, зная, что человек слаб. Он доверил то, что мы не смогли бы доверить даже себе. Он дал возможность любить – а значит, и падать, и подниматься. Потому что любовь – это риск. И каждая свобода – это риск.

Я делаю несколько шагов вдоль набережной, и город, как будто откликаясь, оживает вокруг. Горит одинокий огонёк в окне напротив: кто-то не спал всю ночь. Может быть, там тоже шла эта внутренняя борьба, известная каждому.

Я замечаю, что туман стал светлее. Показалось ли мне? Или всё-таки внутри произошёл какой-то тихий сдвиг?

Я вдруг ясно понимаю: Бог не ограничивает мою свободу – Он требует, чтобы я стал человеком, а не существом, ищущим покоя любой ценой. Он не даёт лёгких решений, не снимает ответственности – но и не оставляет. В Его свете становится видно и моё добро, и мои тени, но именно этот свет делает меня способным идти.

Свобода без Бога – пустыня, где голос Инквизитора звучит особенно убедительно.

Свобода с Богом – крест, на котором распяты мои страхи, но именно под этим крестом я впервые чувствую, что живу.

Я поднимаю воротник пальто и медленно возвращаюсь к дому. Петербург всё ещё сер и сыр, но теперь туман кажется мне не таким тяжёлым. Наоборот – он словно говорит, что город этот знает про человеческую свободу больше, чем любой другой.

Настасья Филипповна… Настасья Филипповна

…Ах, бататенька мой, вы спрашиваете меня о Настасье Филипповне – не как о персонаже, не как о выдумке романиста, а как о живой женщине, которая вот здесь, рядом, дышала, страдала, смотрела мне прямо в душу своими страшными, прекрасными глазами! И ведь правда, правда ваша – я её не выдумывал. Я её мучился. Я её нёс в себе годами, как носят в груди незаживающую рану, которую и трогать нельзя, и забыть невозможно. Она приходила ко мне по ночам, садилась у стола, клала голову на руки и молчала. И в этом молчании было всё – и крик, и мольба, и проклятие, и такая нежность, что я, старый греховодник, готов был упасть перед ней на колени и просить прощения за то, что я – мужчина, за то, что я – человек, за то, что я – живу в этом подлом мире.

Вы думаете – гордая? Гордая?! Да она была горда, как горда бывает только та, кого раздавили сапогом и кто всё-таки встал и пошёл, шатаясь, но с высоко поднятой головой, чтобы никто не увидел слёз. Гордость её – это была не гордость, а крик: «Не подходите! Я сама себя презираю сильнее, чем вы можете меня унизить!» Детская, страшная, последняя защита. Она отталкивала всех заранее – и князя, и Рогожина, и меня самого, – чтобы не успели оттолкнуть её. Потому что она уже знала, знала до тошноты, до дрожи в коленях, как это бывает – когда тебя оттолкнут.

Я её видел впервые… нет, не в романе – раньше. Ещё до того, как начал писать. Она прошла мимо меня по Невскому – в чёрном платье, в простой шляпке, одна, в толпе, и вдруг

обернулась. И я замер. Потому что в этом повороте головы было всё: и «спасите меня», и «не смейте ко мне прикасаться», и «я уже мертва, оставьте меня». И глаза – Боже мой, какие глаза! Такие глаза бывают только у тех, кого оскорбили в самом святом, в самом детском, в самом беззащитном. Она несла в себе этот оскорблённый детский взгляд до конца дней своих.

Тот человек… Тот, первый… Как его… Тоцкий, да. Он не был злодеем из мелодрамы. Он был хуже. Он был обыкновенным. Обыкновенным господином с прекрасными манерами, с деньгами, с положением. Он посмотрел на неё, на двенадцатилетнюю девочку, и решил, что может её купить. Не тело даже – душу. Он купил её стыд. Он научил её смотреть на себя его глазами – глазами владельца. И она поверила. Поверила, что она – вещь. Красивая, дорогая, но вещь. И с тех пор вся жизнь её стала одним бесконечным, мучительным доказательством: «Да, я – вещь. Смотрите. Восхищайтесь. Покупайте. Только не смейте притворяться, что я человек».

Вот почему она так смеялась – этим страшным, резким, почти истерическим смехом. Это был не смех – это был вой. Она смеялась над собой громче всех, чтобы никто не успел посмеяться первым. Она бросала деньги в лицо, разбивала жизни, ломала судьбы – не из жестокости. Из боли. Из невозможной, невыносимой боли человека, который хочет крикнуть: «Я не виновата!», но не может – потому что ей с детства вбили в голову: «Ты виновата. Ты сама позволила. Ты сама».

Князь Мышкин… Ах, князь… Она его боялась больше смерти. Потому что он смотрел на неё и видел – не падшую женщину, не красавицу, не жертву – он видел душу. Чистую. Светлую. Несмотря ни на что. А она-то знала, знала, что нечиста! Что испоганена! Что недостойна! И когда он говорил ей говорил: «Вы добрая, вы страдаете», – она не верила. Не могла поверить. Потому что поверить – значило бы простить себя. А простить себя она не имела права. Её приучили, что прощение – не для таких, как она.

Рогожин… Рогожин был ей понятен. Он тоже был израненный, тоже обезумевший, тоже не мог иначе. Он не предлагал спасения – он предлагал погибель вместе. И она пошла. Потому что погибнуть вместе – это всё-таки не одной. Потому что в его безумных глазах она видела своё отражение – такое же чёрное, такое же отчаянное. «Вот, – говорила она себе, – вот кто я на самом деле. Вот моё настоящее лицо. Не княжеское – рогожинское».

Я её убил. Да, да, не отпирайтесь – я её убил. Потому что не смог, не сумел, не хватило у меня сил вытащить её из этой бездны. Я всё писал, писал, пытался хоть на бумаге спасти – а она ускользала, ускользала… И в конце осталась лежать под простынёй, с ножом в сердце, с этим последним, страшным, почти умиротворённым выражением лица. Как будто наконец-то успокоилась. Как будто наконец-то позволила себе умереть – потому что жить было невыносимо.

Иногда я просыпаюсь среди ночи и слышу её шаги. Она ходит по комнате. Останавливается у окна. Смотрит на меня. И молчит. И в этом молчании – всё. Всё, что я не успел ей сказать при жизни.

Если бы она хоть раз… хоть один-единственный раз она смогла бы выговорить: «Я не виновата…» Если бы кто-то – я, князь, Бог – сумел бы донести до неё эту простую, страшную правду… Но нет. Не сумели. Не дошло. Осталась она – вечная рана. Вечное обвинение. Вечный крик в пустоту.

И всё-таки… всё-таки я скажу вам по самой великой тайне: она была святой. Да, святой! Святой падшей женщины. Потому что в ней до конца, до последнего вздоха жило то, что не убивается никаким позором – живая, страдающая, неумирающая душа. И эта душа смотрела на

меня из-под всех масок, из-под всего цинизма, из-под всей ярости – и просила: «Увидь меня. Увидь…»

Я увидел. Поздно. Но увидел.

Прости меня, Настенька. Прости. Прости нас всех.

….что не даёт нам озвереть

Друг мой… пойдём-ка со мной, не бойся этой сырости, она только кажется неприветной. Петербургский вечер – он ведь как душа человеческая: сперва хмурится, а потом вдруг откроет такую глубину, что дух захватывает. Вот сюда, к парапету… Стань, опри руку на холодный гранит – почувствуй. Ветер с Невы – он всегда говорит правду, даже если мы сами её боимся.

Я неслучайно тебя вывел сюда. Есть у меня мысль одна, горящая, мучительная, с юности преследующая… и всякий раз, когда я прохожу вдоль реки, она словно оживает во мне вновь. И сегодня – ну вот сегодня я уже не могу молчать. Ты слушай, не перебивая: оно простое, но тяжёлое – как булыжник, поднятый со дна человеческого сердца.

Мы – люди – носим в себе образ и подобие Божие. Не награду, не венец добродетели, не знак отличия… нет! Печать – печать, приложенная к мягкой глине бытия ещё в самый первый миг. И вот эта печать – единственное, что удерживает нас от окончательного падения, от разложения души, от той мерзкой человеческой мелочности, в которой человек перестаёт быть человеком.

Ты думаешь, это пустые слова? Я видел то, что сильнее всяких доказательств. И видел – там, где, казалось бы, не может остаться ничего человеческого. Помнишь, я рассказывал тебе про одного каторжника – Луку? Маленький, худенький, словно постоянным голодом выточенный… воровал по мелочи, глупо, так, что всякий раз попадался. И его презирали даже те, кого сам мир давно списал с баланса. «Никчема», «дурачок», «слюнтяй», – а он и сам себе был врагом.

И вот, друг мой, баня… пар, гул, смех, ругань. Лука – голый, костлявый, почти прозрачный от стыда – и вдруг заплакал. По-детски. И сказал: «Эх, братцы… кабы я хоть на человека был похож…» А я глянул на него – и словно молния сверкнула. В этом высохшем, жалком, отверженном существе – я увидел образ Божий. В глазах, полных безысходной тоски; в дрожащих губах; в теле, которое он сам ненавидел. Искра. Неистребимая.

И я понял: если в нём живёт эта искра – кто из нас имеет право судить достоинство человека по его заслугам, успехам, чинам?

Вот пойдём чуть дальше… Послушай, как плеск воды будто отвечает. Петербург – он ведь сам весь полон тоски и благодати, подлости и страданий, смешанных так тонко, что человек не отличит одно от другого.

Гордыня… Знаешь, что это такое? Это безумная попытка доказать: «Я сам себя сделал». А отчаяние – то же самое, только наоборот: «Я ничто, раз мне не дали». Ложь и то, и другое. Ложь страшная, потому что она отрывает человека от Бога, от единственного источника его достоинства.

Вспомни Алёшу Карамазова… Да, я говорю о нём как о живом – и пусть смеются. Для меня он живее многих живых. Лежит он под звёздами, после разговора со старцем Зосимой… и вдруг чувствует, как «нити всех миров Божиих сошлись в душе его». Без гордости, без

самоуничижения – только радость, что он есть. Это и есть смирение настоящее – не «я ничего не стою», а «во мне – Он».

Вот идём мы с тобой вдоль Невы – видишь, как тёмная вода сияет под огнями, будто огромная душа города рябит от каждого слова… – и я хочу, чтобы ты понял: пока мы будем взвешивать человека по тому, что он «достиг», – мы будем либо возноситься в гордыню, либо погружаться в отчаяние. Но если вспомнить, что достоинство – не наше, а Божие в нас; что оно дано, а не добыто; что оно живёт в человеке, даже если он повержен в грязь… – тогда всё лишнее отваливается.

А жить с этим – как?

Я скажу тебе – только не смейся. В остроге, среди вони, тесноты, ругани – по утрам я шептал: «Господи, я – создание Твоё. И в глубине меня – Ты». Это удержало меня от безумия. А когда ярость хватала за горло – я смотрел человеку в глаза и говорил: «И в тебе – тот же образ». И ярость стихала.

Так и ты. Когда тебя хвалят – не верь. Когда унижают – тоже не верь. Веруй одному: ты – икона. Закопчённая, треснувшая, но икона. И вся твоя задача – не дать ей разбиться.

Вот, посмотри – мост раскрывается над Невой… огни дрожат, словно сами ищут отражения. И я чувствую в этот миг – да, здесь, среди ветра и сырости! – то самое, что понял много лет назад:

«Я – не сам по себе. Во мне – Он».

И это уже ничем не разрушить. Ни людьми, ни судьбой, ни собственной нашей подлостью.

Пойдём дальше… Здесь ветер крепче, но сердце – тише.

Underground

Был сегодня в одном углу, в одной норе, или, лучше сказать, в склепе, под самыми сводами Петербурга. Меня влекло туда то же чувство, которое заставляет пристально всматриваться в язву, трогать больной зуб языком, – чувство болезненное, унизительное и оттого еще более непреодолимое.

Воздух в его конуре, затерянной в одном из дворов-колодцев, был густой, спертый, пропитанный кислым запахом немытого тела, дешевого табака и той особенной духовной плесенью, что прорастает в душах, навеки отлученных от солнца. Дверь скрипнула, точно стонет загнанная в угол тварь. Он сидел на продавленном диване, похожем на разворошенную могилу, – худой, желчный, с лицом, изборожденным не годами, но бесконечной, въевшейся злобой. Казалось, сама плоть его истлела от парадоксов, что копошились в этой голове. Руки его, длинные, нервные, беспрестанно комкали какую-то смятую бумажку – вероятно, те самые «записки», что стали его исповедью и местью миру.

Увидев меня, он вздрогнул, судорожно подался вперед, но тут же, с отчаянным усилием, откинулся, фыркнул и махнул рукой – жест, полный презрительного снисхождения и мучительной неловкости.

– Ха-ха-ха! – разразился он хриплым, надтреснутым смехом. – Вот ты и явился, милостивый государь! Этот… поверхностный человечек с улицы, с вопросами о «покаянии»! Неужели думаешь, что я, этот мерзкий червь подполья, стану проповедовать, как твой Зосима? Лить

слёзы умиления и твердить: «Кайся, брат, кайся!»? Нет, нет, милый мой! Я не каюсь – я упиваюсь своей нераскаянностью, я жую её, как старую корку, и она горька, о, как горька! Но раз уж припёрся – садись. Я скажу тебе о покаянии, но по-своему, со всей голой жизненной правдой, чтоб ты ушёл отсюда с тошнотой в душе!

Он говорит, а я слушаю, и холодный ужас охватывает меня. Ужас не перед безумием, а перед логикой, доведенной до своего чудовищного предела.

– Вы говорите – «покаяние – дверь», – язвительно продолжает он, впившись в меня колючими глазками. – Прекрасно! Допустим. Но что за дверь? В рай? В очищение? Фу, какая пошлость! Это дверь в ту же комнату, только входишь в нее не гордым хозяином, а пришибленной собачонкой, которую высекли и которая виляет хвостом в надежде на подачку! Вы думаете, Родька, став на колени перед Сонькой-проституткой, стал счастлив? Он стал нищим духом! Он сломал себя об колено собственной теории и променял свою страшную, великую боль – на утешительную ложь! Он предпочел быть счастливой свиньей, нежели несчастным Сократом!

Он переводит дух, и в его взгляде мелькает странная, парадоксальная жалость – то ли к себе, то ли ко мне.

– А я – я не хочу быть счастливым! Счастье – удел идиотов! Я хочу сознавать! Сознавать каждую секунду свою подлость, свою ничтожность! И – наслаждаться этим! Да-с, наслаждаться! Это моя форма бытия! Вы предлагаете «смирение»? Но смирение – это рабская философия, придуманная господами для усмирения рабов! «Смирись, гордый человек!» – кричат они. А зачем? Чтобы тебе было легче на них работать! Нет, уж я лучше буду сознательным подлецом в своем углу, чем бессознательным – в их гостиной!

Он почти кричит, и слюна брызгает с его перекошенных губ.

– Вы говорите – «покаяние очищает». От чего? От страстей? Но страсти – единственное, что доказывает, что я жив! Эта злоба, что разъедает печень, эта зависть, что сверлит мозг, – это всё моё! Я не отдам это ни за какую «чистоту»! Чистота – это смерть! Вы хотите, чтобы я стал гладким, холодным камнем? Нет, я предпочитаю быть вонючей, кишащей червями лужей, но – живой лужей!

Он замолкает, тяжело дыша, и в наступившей тишине ясно слышно, как с потолка капает вода.

– И не говорите мне о «любви к ближнему», – шипит он уже почти беззвучно. – Это самая хитрая выдумка! Я ненавижу ближнего! Ненавижу его дыхание, его глупую уверенность в завтрашнем дне! И в этой ненависти – больше правды, чем во всей вашей слащавой, лицемерной «любви»! Вы хотите «мира в душе»? Этот дурацкий, блаженный покой? Но я не хочу покоя! Я хочу бури! Я хочу, чтобы во мне все кипело и рвалось наружу! Пусть это яд – но это мой яд! Я сам себе и палач, и жертва, и зритель!

Он откинулся на спинку продавленного дивана, обессилев, и последние слова его звучат как удар палача:

– Так что убирайтесь к черту со своим покаянием… в ваш уютный мирок, где все «каются» и «прощают». Я остаюсь здесь. Со своим сознанием. Со своей злобой. Это мой выбор. Это мой протест. И знаете что?.. Мне здесь… чертовски удобно.

Когда я вышел на улицу, под холодный, промозглый ветер, он показался мне чище и светлее того смрадного воздуха, что царил в его конуре. Но тягостное чувство не оставляло меня. Ведь этот человек – не случайность. Он – наше общее «подполье», наша «общая идея», доведенная

до отчаяния. Что сильнее: спасительная сила покаяния и любви или эта адская, но до конца честная в своем отчаянии свобода саморазрушения? Кто прав – Зосима или этот «подпольный» парадоксалист?

Не знаю. Знаю лишь, что долго еще буду слышать этот хриплый, надтреснутый хохот, разносящийся из сырой норы под промозглыми сводами Петербурга.

Ты спрашиваешь меня, друг мой, что такое смирение…

Ах, как ты спрашиваешь! Сижу я здесь, в этой тесной комнате на Екатерининском канале, декабрь за окном, снег валит тихо, глухо, точно хочет засыпать весь этот грешный город, весь этот Петербург наш, полный теней и призраков. Лампа керосиновая едва теплится, коптит, тени по стенам ползут медленно, как бесы, а я, в старом халате, с пером в руке, которое уже не держится ровно, – пишу тебе, потому что не могу не писать, не могу молчать, когда душа горит и обнажается до самого дна, до того мистического дна, где уже не различаешь, где кончается человек и начинается Бог или, наоборот, дьявол.

За окном Невка замерзла, фонари тускло мерцают сквозь снег, комната моя – ты знаешь – обшарпанная, обои в углах отклеились, на столе чернильница, стопка бумаг, да икона Спасителя в киоте смотрит строго, почти укоризненно: опять, мол, ночами не спишь, себя терзаешь, в бездну заглядываешь. А я сижу, сгорбившись, руки холодные, грудь болит, и чувствую, как внутри всё обнажается, как будто кожа содрана, и душа стоит голая перед Богом, перед собственной правдой, и уже не может лгать, не может прикрашивать – стыдно, стыдно до слёз, до того мистического ужаса, когда кажется, что за спиной кто-то дышит, и это не человек.

Смирение… странное слово, страшное, почти мистическое. Мы его так легко бросаем в разговорах, в гостиных этих наших, где дамы в шелках, а мужчины с важностью курят сигары и рассуждают о народе, о Боге, о добре и зле, – «надо смириться», говорят, как будто это покорность, слабость, опущенная голова перед сильным. Ложь это, ложь подлая, удобная! Я это знаю, потому что сам жил в этой лжи долго, слишком долго, и видел, как она ведёт в бездну. Смирение – не слабость, нет! Оно от силы, от такой силы, что мир её ненавидит, боится, потому что она его судит без крика, без грома – тихо, неумолимо, как тот тихий голос, что раздаётся в душе внезапно, среди ночи.

Человек ведь бунтарь от рождения, ты знаешь, ты сам это носишь в себе, как я ношу. «Я есть! Я имею право!» – кричит он с первой минуты и до последней. В этом крике вся его жизнь, кажется ему. А на деле – в этом крике смерть. Потому что, крича «я!», он отталкивает Бога. А оттолкнув Бога – теряет себя, становится пустым, одержимым, как те мои бесы, что бродили по нашему городу, по салонам и подвалам.

Я видел гордых – о, сколько видел! В салонах петербургских, где ум блистает, как фальшивый бриллиант, в острогах, где цепи звенят, в подвалах наших, где люди корчатся от голода, холода, стыда. Гордый всегда громок: требует, обвиняет, кричит о несправедливости. А загляни глубже – страх там, один страх: признать, что ты не центр, что ты мал, что над тобой Суд, не наш, мелкий, а вечный, мистический.

Гордыня – последняя крепость безбожника. Он держится за неё до крови, до конца.

А смирение начинается, когда крепость рушится. Помнишь Ставрогина? Ах, как помню – живого, страшного, как будто вчера он стоял здесь, в этой комнате, с этим холодным, прекрасным лицом, с глазами, в которых пустота бездонная. Он всё мог, всё позволял себе – и

женщин, и кровь, и идеи – потому что считал себя выше Бога. И когда всё рухнуло, когда он увидел в себе эту пустоту, этот легион бесов, он не выдержал – повесился. Гордыня до конца не дала смириться, не дала упасть перед правдой.

Или старец Зосима… Этот старый монах, которого я видел как живого, в его келье, с этим тихим, почти потусторонним голосом, с этой улыбкой, полной слёз и света. Он не учил гордости, не требовал поклонения – он склонялся перед каждым, даже перед Фёдором Павловичем, этим развратником, даже перед бесноватыми. «Все за всех виноваты», – говорил он, и в этих словах было смирение полное, мистическое: не «я выше вас», а «я ниже всех, я грешен больше всех». И люди падали перед ним, плакали, потому что в его смирении была любовь, настоящая, Христова, та, что изгоняет бесов.

Смирение – не «я хуже всех», это ещё гордость была бы, только навыворот. Смирение – «я не Бог». И в этом признании – свобода великая, мистическая. Пока меришь всё собой – раб ты: обид, страстей, амбиций, бесов. Всё время защищаешься, нападаешь. А смирившийся – свободен. Ему нечего защищать, кроме правды Божией.

Но легко ли прийти? Нет, друг мой, нет. Дорого платится. Через боль, через унижение, через то мгновение, когда видишь себя настоящего – и стыдно, стыдно жить. Многие тут бегут: в самоубийство, в цинизм, в новую гордость – лишь бы заглушить голос этот тихий, почти мистический: «Ты не прав. Ты любил себя больше истины».

Я знаю этот голос. Он ко мне приходил в ссылке, в болезни, в одиночестве петербургском этом. И если выдержишь – не убежишь – тогда путь начинается. Мучительный, но единственный.

Смирение – это когда принимаешь жизнь как призвание от Бога. Даже страдание – особенно страдание. Не потому что страдание спасает само по себе – нет! – а потому что, принятое без ропота, перед Ним, оно сжигает иллюзии, изгоняет бесов.

В «Мёртвом доме» видел я закованных – и свободных. Один убийца молился по ночам так тихо, что едва слышно, и в молитве той было больше достоинства, чем во всех речах наших образованных гордецов. Он знал своё место – и потому был выше.

Смирение – когда перестаёшь требовать от мира справедливости по-своему. Когда соглашаешься: моя правда – не последняя. Есть воля выше, живая – Божья.

А любовь? Без неё всё пусто. Любовь и смирение – одно. Любить без смирения нельзя. Где гордыня – там обладание, подчинение, бесы. А смирение – служение, прощение.

Вот и всё, что могу сказать тебе сегодня, друг мой. Шёпотом почти, потому что голос дрожит, и за спиной как будто кто-то стоит:

Смирение – это когда соглашаешься быть просто человеком. Не больше. Но и не меньше.

И в этом согласии – спасение начинается.

Остальное… остальное нужно прожить. До конца. До края.

Сон во время Ивана

Ночь была глуха и тесна, как камера приговоренного. Я спал – и знал, что сплю, и именно это знание делало сон невыносимым: будто сознание, не желая уступить, осталось бодрствовать внутри сна, как узник, который понимает, что дверь заперта изнутри. Я пытался пробудиться –

делал усилие, почти физическое, – но усилие лишь углубляло происходящее, и тогда я понял с тяжёлой ясностью: это не обычный сон, а то странное состояние, когда мысль продолжает жить после того, как тело уже отказалось от реальности.

Комната была мне знакома до последней мелочи – письменный стол, лампа с мутным стеклом, стопка бумаг, тень от чернильницы, – и всё же в ней было что-то смещённое, как будто вещи сохранили очертания, но утратили подлинное место в бытии. Воздух был плотен, и в нём, казалось, можно было различить дыхание – не моё.

Напротив меня сидел Иван Карамазов.

Я не удивился. Во сне удивление – роскошь, недоступная. Я только почувствовал странное, почти постыдное чувство: как будто не я его вызвал, а он сам пришёл, потребовать объяснений, которых я всю жизнь избегал дать.

Иван сидел неподвижно, чуть наклонившись вперёд, с тем выражением сосредоточенной усталости, которое бывает у людей, слишком долго и слишком честно думавших о том, о чём, быть может, и думать-то человеку не положено. Он смотрел не прямо на меня, а сквозь, как смотрят на собственную мысль, от которой невозможно уклониться.

– Значит, ты рассердился на Бога своего, взбунтовался? – произнёс я, и голос мой прозвучал как цитата, вырванная из меня самого.

Он едва заметно усмехнулся.

– Я против Бога не бунтуюсь, – сказал он медленно, с той почти жестокой ясностью, которая всегда была его проклятием. – Я только мира Его не принимаю.

Эти слова повисли между нами, как дым, и я вдруг понял, что они не были произнесены сейчас: они всегда существовали, как скрытая формула его жизни, и вот теперь лишь обрели плоть звука.

– Человек, – продолжал он, – создан по образу и подобию Божию. Значит, он свободен. Но скажи мне: зачем эта свобода, если она приводит к миру, где страдают дети? Зачем такой порядок, который требует от человека согласия с несправедливостью?

Я хотел возразить – и не смог. В этом сне всякая мысль доходила до края и там останавливалась, словно упираясь в стену, за которой начиналось молчание.

– Ты говоришь о свободе, – сказал я наконец, – но не замечаешь, что именно она и стала твоей мукой. Свобода дана человеку не для своеволия, а для любви. Любовь же без свободы невозможна: она превращается в насилие, в принуждение к добру, а принуждённое добро уже не добро, а лишь его мёртвая маска.

Иван нахмурился, но не перебил.

– В раю, – продолжал я, чувствуя, как мысль сама тянет меня дальше, – человеку была дана свобода как согласие с Богом. Заповедь была не запретом из ревности, а границей заботы. Но человек захотел свободы против Бога, а не с Ним. И с этого мгновения свобода извратилась, превратившись в своеволие. Так родилось то странное состояние, в котором мы живём до сих пор: мы требуем от Бога ответственности за зло, порождённое нашей же развращенной свободой.

Иван резко поднял голову.

– Значит, ты хочешь сказать, что человек сам виноват во всём? – спросил он, и в голосе его была боль, а не ирония.

– Я хочу сказать, – ответил я тихо, – что человек с самого начала повторяет один и тот же жест. Согрешив, он обвиняет. Как Адам указал на Бога: «Жена, которую Ты дал мне…», так и ты возвращаешь билет не Богу, а миру, который хочешь видеть устроенным без риска свободы.

Он встал, и комната дрогнула, словно от слабого землетрясения.

– Я не могу принять мир, – сказал он почти шёпотом, – где страдание оправдывается свободой.

– А ты хочешь мира, – ответил я, – где добро было бы обязательным. Но тогда исчез бы сам человек. Бог не отменяет свободу, потому что, отменив её, Он уничтожил бы и образ Свой в человеке. Ты обвиняешь Бога именно в том, что Он не сделал тебя марионеткой.

Иван молчал. В этом молчании было больше крика, чем в самых громких словах.

Мне вдруг вспомнился Иов – не как пример смирения, а как человек, дерзнувший говорить с Богом из самой глубины боли. Его ропот был не отрицанием, а жаждой встречи. И я понял: ропот – это не просто недовольство. Это крик души, которая не может молчать, потому что ещё верит. Неверующий не ропщет – он безразличен. А ропщущий продолжает говорить, пусть даже сквозь слёзы и обвинения.

– Твой крик, Иван, – сказал я, – это не неверие. Это вера, не нашедшая примирения. Но в нём есть опасность: ты хочешь, чтобы Бог победил зло без твоего участия. Ты требуешь спасения без креста.

Он медленно опустился на стул.

– А если я не могу иначе? – спросил он глухо.

– Тогда твой ропот должен пройти дальше, – ответил я. – Он должен быть распят. Не уничтожен, а преображён. Пока ты борешься с Богом, ты остаёшься в одиночестве. Но когда начнёшь бороться с собой – откроется возможность соработничества. Не против Бога – а вместе с Ним – против зла.

Я вдруг ясно ощутил присутствие Алёши – не как фигуры, а как дыхания, как тихого согласия, разлитого в воздухе. Иван – ум, Алёша – сердце. Один требует объяснений, другой принимает без них. Но оба ищут, и в этом поиске заключена вся трагедия и вся надежда человека.

– В каждом из нас, – сказал я, – живут оба. И если ум не будет распят, сердце станет слепым. А если сердце будет отвергнуто, ум станет жестоким.

Сон начал светлеть, и это было страшнее тьмы. Я понял, что приближается пробуждение.

– Что будет потом? – спросил Иван, глядя прямо на меня впервые за весь разговор.

– Потом, – ответил я, – ты перестанешь искать ответы. Ты начнёшь искать Лицо.

Он кивнул. И всё стихло. Не потому, что боль исчезла, а потому, что в ней впервые мелькнул смысл.

Я проснулся – и не проснулся. Комната была пуста и в то же время наполнена тишиной, в которой кто-то жил. И я понял: ропот может стать молитвой, если пройти через него до конца, а свобода – вновь стать любовью, если перестать превращать её в обвинение.

Вера мертвых

– Знаешь ли ты, брат мой, что такое Петербург осенью? Город-призрак, раскинувшийся на костях болот, где Нева течёт, как кровь из не зажившей раны мироздания. Ветер с Финского залива несёт не листья, а обрывки забытых молитв, а в душах – те же листья, увядшие, без корня. Я сижу у окна, в этой паучьей норе, где тени в углах гуще моих чернил, и пишу тебе. Пишу, потому что сердце колотится, как тогда, на плацу, и не могу молчать. Ты – мой единственный свидетель, ты, кто стоит на пороге своей бездны, как я стоял когда-то на пороге своей.

Вчера я метался по Невскому, как загнанный зверь, чтоб не утонуть в лужах, что блестят, как осколки мирового стекла. Толпа текла – дамы, в шляпках всех фасонов, с зонтами, офицеры с саблями, убогие нищие у подъездов – призраки в масках, жизнь без глубины. У решётки Летнего сада я замер: "Неужто и я жил так? Десятилетия – и ни разу не коснулся своей бездны?" Жил, суетился, верил – но верой отцов, дышал – дыханием толпы, двигался – движением улицы. А в глубине – тьма, не тронутая ни мыслью, ни слезой, ни страхом смерти.

До того утра. Утра, что разорвало ткань моего бытия, как смерть Христа разорвала завесу храма.

22 декабря 1849 года. Семёновский плац. Холод не земли – холод космоса. Нас, петрашевцев, двадцать человек, вывели из казематов. Я шёл, брат, шёл по снегу, что скрипел, как кости мироздания под пятой смерти. Кандалы звенели – не металл, а эхо вечности. Сердце стучало – не от страха, а от того ужаса, что больше страха. Барабаны гремели, как раскаты Судного дня. Толпа молчала – не люди, а сонм ангелов, ожидающих приговора.

Нас поставили к стенке лицом. Брат мой Михаил – слева, бледный, губы синие, в крови от мороза. Я взглянул на него – и время остановилось. Щёлканье затвора. Этот звук – разрыв миров. Я стоял, но уже не я. Вся моя личность, вся моя жизнь – романы, споры, мечты, честность, и вера отцов – отпала, как гнилая кожа. Я увидел себя чужим. Не злым – пустым.

И вдруг – пустота. Не моя – мировая. Передо мной разверзлась Бездна. Не просто смерть – а та самая, о которой Писание говорит: "Там, где червь не умирает и огонь не угасает". Холодный палец вечности лег на шею, и я увидел: мир держится на волоске. И этот волосок – моя душа.

В последнюю секунду, брат, я понял: душа – не часть меня. Она – я. То, что остаётся, когда всё отпадает. Когда пепел тела, мыслей, страстей, надежд обсыпался при дуновении Неизбежного. Родился вопрос – не человеческий, а всеоблемющий: "Кто я в Вечности?"

И тут, в этой бездне, где время умерло, я увидел: вера – это не убеждение. Вера – это бытие. Не наследство, не знание – прикосновение. Между ужасом небытия и надеждой на Бытие. "Вера рождается – там же, где рождается душа: между ужасом и надеждой".

Вдруг солдаты закричали: "Инсценировка!" Нас увели. Но что значила эта ложь? Я уже умер и воскрес. Первое рождение из Бездны.

А потом – каторга. Омская крепость – не место, а состояние души. Четыре года в аду, где человек – не человек, а образ. Барак – Вавилон, где зло не прячется, а правит. Вонь пота и

гнили висит, как туман. Я ходил по двору, в полушубке, засыпанном снегом, как гробом, и смотрел на них – на каторжан. Не на маски, а на людей голых, обожжённых жизнью. Грех их лежал открыто, как кандалы на ногах. Убийцы, воры, богохульники.

И вдруг я открыл парадокс человека: грешник чище фарисея. Убийца, зарезавший жену в пьяном угаре, плачет над умирающим воробьём. Интеллигент, читающий Канта, плюёт в лицо больному. Почему? Потому что в грехе – честность. Грех – как рана: видна, болит, но живая. А добродетель фарисея – как штукатурка на гнилом доме: красивая снаружи, пустая внутри.

Однажды ночью лежал я без сна на нарах, слушал храп и стоны. В углу, у печки, встал мужик – Гаврила, медведь-убийца, трижды проклинавший Бога за пьянство и кровь на руках. Встал на колени – и зарыдал. Не криком – молитвой. Слёзы его капали на пол, и в этом полумраке я увидел: Свет. Не мой, не его – Его. Образ Божий, незапятнанный грехом, сиял сквозь грязь, как солнце сквозь тучу.

И я понял: человек – больше своего падения, глубже своего греха. В мерзости и унижении я обнаружил живое дыхание Христа в самых тёмных людях. Сколько ночей сильнейшие ломались от тоски! А тихие, униженные – становились светом. И родилось второе откровение: "Не я ищу Бога. Он ищет меня. И каждого – до последней бездны".

Вот почему, друг мой, я уже не верю в "веру по наследству". Тепличная вера, заповеданная с детства, – она прекрасна, как чистый снег на куполах Исаакия, но стоит первому ветру страстей задуть – и всё смоет. Это не вера – это мумия. Красивая, благоуханная, но мёртвая.

Сколько видел я Алёш – кротких, добрых, воспитанных в благочестии! Но они стоят на краю пропасти, потому что не пережили своей личной встречи с Богом, не услышали Голоса во тьме, не увидели света в час смертельного одиночества.

И сколько Иполлитов, Иванов – гордых, блестящих умом, но надломленных духом! Для них вера – гипотеза, спор с Богом. "Если Бог есть, зачем дети страдают?" Но они не знают: вера – не ответ на вопрос. Вера – вопрос, заданный Бездной.

Пойми меня, брат: вера – не мысль, а рана. Не теория, а встреча. Не идея, а удар в сердце, после которого ты – другой.

Я вижу тебя, брат. Ты стоишь на своей внутренней границе. Хочешь верить – не чужой верой; хочешь жить – не чужой жизнью. Боишься погибнуть духовно – ты уже видел, как в человеке может умереть всё.

Но слушай истину, выжженную в моей душе: Личность рождается не от побед, а от поражения. Не от света, а от тьмы. Не от ответов, а от Великого Вопроса: "Зачем я?"

Твоя бездна – не проклятие. Это порог. Там, где кончается ты – начинается Он. Стань лицом к этой Бездне. Скажи: "Господи… если Ты есть – посмотри на меня". И увидишь: в этой тьме – Свет. Не твой – Его. Крошечный, но вечный. И тогда произойдёт чудо всех чудес: ты воскресешь. Не вера твоя спасёт тебя – Его взгляд. С этого дня начинается настоящая вера. Не наследственная – твоя. Не книжная – кровная. Не общественная – вечная. Живая. И потому – спасительная.

Я встал из-за стола, подошёл к окну. Петербург тонет в тумане. Нева течёт чёрной кровью. Но в моей душе – Пустота, наполненная Им. Пиши мне, брат. Не медли. Твоя Бездна ждёт. Не бойся. Там – начало.

Трагедия «Ставрогин»

Сядь, друг мой… сядь ближе, дай мне твою руку, я дрожу весь.

Я не могу больше носить его в себе одного. Ставрогин душит меня по ночам. Он стоит у меня за спиной, кладёт мне на плечо свою холодную, красивую, проклятую руку и шепчет: «Ты ведь тоже хотел быть мной, Федор… хоть один раз хотел».

Я рыдаю сейчас, понимаешь ли ты? Рыдаю, как баба, как ребёнок, как тот самый мальчик, которого он… нет, не могу выговорить, не могу!

Он был прекрасен, о Боже мой, до ужаса прекрасен! Как ангел в тот миг, когда ещё не пал, но уже решил пасть. И все падали перед ним ниц: женщины, мужчины, старики, дети… все! А он смотрел сквозь них, будто сквозь стекло, и в глазах его было: «Вы мне скучны, вы мне пыль под ногами». И я дал ему это лицо, потому что сам видел такие лица, сам чувствовал этот ледяной ветер из бездны.

Когда он позволил Шатову ударить себя по щеке, я кричал внутри: «Встань! Ударь в ответ! Будь человеком!» А он улыбнулся той своей улыбкой мраморного истукана и сказал про себя: «Я выше вас всех». И я понял: смирение может быть страшнее самого дикого зверства.

Когда он женился на юродивой, на моей бедной, безумной Марье, я плакал кровавыми слезами, потому что знал: он делает это не из любви, а чтобы плюнуть в лицо Богу. «Вот, я могу и это!» И в ту же ночь он уже отпустил Федьку: «Иди». И нож вошёл в сердце калеки… в сердце юродивой… в сердце Христа! А он спал. Спал спокойно, потому что даже кровь не могла разбудить в нём ничего живого.

А потом… потом была келья Тихона.

Господи, прости меня, я написал эту главу на коленях, в слезах, задыхаясь.

Он вошёл к старцу с листками в руке, как входит дьявол в храм.

И положил перед Тихоном свою исповедь, свою страшную, свою гнусную исповедь о девочке… о той маленькой… о той, что потом повесилась…

И сказал спокойно, почти ласково:

«Я хочу это напечатать, отец Тихон. Пусть весь мир увидит, какой я честный».

Честный!

Я кричал в ту ночь в подушку, я рвал на себе волосы: он хочет славы падшего! Он хочет, чтобы его проклинали, чтобы мать той девочки выцарапала ему глаза, чтобы весь ад рукоплескал ему! Он хочет быть красивым в своём аде!

А Тихон плакал. Плакал, как мать над мёртвым сыном.

И говорил ему дрожащим голосом:

«Николай… ты не покаетесь… ты пойдёшь на новое преступление… лишь бы не покаяться…»

И он пошёл.

Пошёл и повесился.

Аккуратно, чисто, по-швейцарски.

И написал: «Никого не винить».

Никого!

Даже Тебя, Господи, не винить!

Я сейчас плачу так, что свеча гаснет от слёз.

Я вижу его висящее тело, вижу его красивое лицо, уже посиневшее, и всё равно прекрасное, проклятое прекрасное! И слышу, как он шепчет мне из петли:

«Видишь, Федор… я дошёл до конца… и ничего там нет… ничего…»

Друг мой, брат мой, обними меня, я умираю от него!

Поклянись мне, что никогда, слышишь, никогда не заглянешь в эту бездну!

Поклянись, что будешь плакать, будешь грешить, будешь падать, но будешь живым!

Только не становись им! Только не становись ледяным богом пустоты!

Потому что Ставрогин – это мы, когда мы говорим: «Всё позволено».

Это я, когда я в гордыне своей думаю, что выше Твоей крови, Христос мой!

Прости меня… прости нас всех…

Я не могу больше… он душит меня… он душит…

Аз есмь

Я встретил Федора Михайловича в один из тех мрачных петербуржских вечеров, когда закат – будто выдавленная кроваво-свинцовая полоса над горизонтом – цепляется за трубы домов, а в переулках уже загущается какой-то особый, северный, полумёртвый сумрак. Он стоял под фонарём, слегка согнувшись, будто нес на плечах груз, который давно перерос его собственную плоть. Лицо было худощавое, узкое, с резкими скулами, но глаза… глаза поражали: они смотрели так, как смотрят люди, однажды побывавшие на пороге иной реальности, куда не всякому дано заглянуть.

– Вы опять задумались о судьбе? – спросил я, подойдя ближе.

Он вздрогнул, будто вырванный из глубины собственного размышления, и улыбнулся слабой, почти болезненной улыбкой.

– Судьба?.. Ах, мой друг, – протянул он, – когда человек в молодости произносит это слово, оно звучит пустым звоном. Но когда произнесёт его тот, кто однажды стоял лицом к лицу со смертью… тогда судьба становится чем-то пугающе зримым, ощутимым, почти осязаемым. И весь человек повёртывается внутрь себя – словно камнем, падающим в колодец.

Мы двинулись по набережной. Ветер с Невы, всегда сырой и настойчивый, трепал его пальто, а

он, не замечая холода, говорил всё тише, как бы погружаясь в воспоминания.

– Ведь вы знаете, – начал он, – что бывают такие минуты, когда человек, не будучи ещё ни праведником, ни злодеем, вдруг ощущает, что вся его душа стоит на весах; что вот-вот решится нечто последнее, определяющее, – и он либо восстанет к свету, либо рухнет в окончательную тьму. И самое удивительное: человек порою даже сам не понимает, что этот момент – его собственный суд.

Он замолчал на миг, будто прислушиваясь к далёкому колоколу.

– Когда меня, – произнёс он внезапно, с едва уловимой дрожью, – вывели тогда на казнь, мне казалось, что мир разделился надвое: одна половина ещё жила, шевелилась, шумела какими-то человеческими заботами, а другая – уже была завершена, неподвижна, как гранитная глыба. И я стоял, как между этими двумя мирами. Представьте: вы идёте по земле и вдруг понимаете, что в любой момент она может исчезнуть из-под ног. Так и я… знал, что через минуту перестану быть человеком среди людей.

Мы остановились у мостовой, где лошадь, тяжело фыркая, тянула извозчика. Сквозь туман фонарь давал зыбкий, неровный свет, и этот свет ложился на его лицо, высвечивая в нём что-то юродивое и пророческое.

– И вот, – продолжал он, – когда мучительный отсчёт последних мгновений уже подступил к самому сердцу, случилось то, что перевернуло весь мой внутренний мир: я вдруг понял, что человек – это не просто тело, не просто страсти, не просто привычки и случайности; человек – это стержень. Да-да, именно стержень, который удерживает в себе всё остальное. И если этот стержень разрушится – от человека не остаётся ничего, кроме жалкой оболочки. Но вот если он сохранится – даже перед лицом смерти… тогда душа остаётся неуязвимой.

Ветер усилился, и мы ускорили шаг. Мой собеседник, однако, говорил всё глубже, всё горячее, словно сам становился свидетелем и судьёй собственной души.

– Этот стержень, – сказал он с неожиданной силой, – не выковывается ни книжной мудростью, ни благополучием, ни почестями. Нет! Он рождается там, где душа сталкивается с бездной. Именно тогда, когда все земные опоры рушатся, когда человек остаётся лицом к лицу с Богом – и уже не может спрятаться за привычные лжи, за привычные самооправдания, – в этот миг он либо находит в себе опору, либо теряет её навсегда.

Он двинулся быстрее, и мне казалось, что в этой его поспешности есть что-то от внутреннего порыва, от стремления высказать нечто заветное.

– На каторге, – произнёс он, – я видел людей, у которых не было никакого стержня. Они рассыпались, как пыль, при первом же испытании. Их слова, их слёзы, их бешеные крики – всё это было лишь поверхностью, тогда как внутри зияла пустота. Но были и другие: тихие, простые, почти незаметные. С ними я сидел за одним столом, делил хлеб, делил молчание. И я видел: их внутренний стержень не погнулся, не надломился, не истлел. Вы спросите, отчего это? От простой ли силы характера? Нет. От веры. От того, что они знали: всю внешнюю тьму им выдержать можно, если внутри – свет.

Мы вышли к широкому проспекту. Люди спешили, прикрывались зонтами, кто-то выругался; город жил, гудел, дышал своим обычным петербургским дыханием. Но мой спутник, кажется, не замечал городской толчеи.

– Поймите, – сказал он почти шёпотом, – внутренний стержень – это не гордость. Это – то, что

удерживает человека от распада. То, что соединяет его с вечностью. И чем ближе человек к Богу, тем крепче этот стержень. Но ведь и Бог требует от человека труда. Не пустого благочестия, не красивых слов. Нет – работы над собой. Дневной и ночной. Тяжёлой, мучительной. Подчас такой, что легче умереть, чем продолжать её. И всё же… всё же без неё нет ни характера, ни судьбы, ни настоящей личности.

Он остановился, положив руку мне на плечо.

– Подумайте же сами, друг мой: если вы не знаете, что есть у вас этот стержень – то откуда вам знать, устоите ли вы завтра перед первым же натиском жизни? А если знаете, что он есть, – откуда уверенность, что не погнётся он под непосильным грузом? Вот потому-то человек и должен каждую минуту сверять себя с Богом. Не для страха – для света. Ибо свет и есть жизнь.

Мы простились у перекрёстка; он исчез в туманной глубине улицы, его шаги растворились в шуме редких экипажей. А я ещё долго стоял и думал: действительно ли человек знает себя до конца? Или всё-таки лишь в моменты, когда он слышит дыхание собственной вечности, – рождается в нём тот стержень, который способен удержать его душу от распада?

И чем больше я размышлял, тем яснее становилось: он сказал истинную правду. И каждый из нас – накануне своей внутренней казни. И каждому – предстоит выковать свой стержень.

Гордый слепой

Я пишу эти строки поздним вечером, когда Петербург словно приглушённым колоколом накрывает меня сверху: гул экипажей тонет в мокром снегу, прохожие мелькают, как тени, а в окне напротив, на третьем этаже, уже третий час сидит какой-то старик и что-то пишет, склонившись, как будто и он, подобно мне, решается сегодня на признание. И странное дело: каждый раз, когда он поднимает голову, мне кажется, что он знает обо мне что-то большее, чем я сам о себе. Но, быть может, это лишь игра воображения, – воображение ведь часто становится единственным зеркалом, когда сердце человека отвернулось от истины.

Я хочу рассказать о той ночи, которая, по моему разумению, и положила начало моему собственному разрушению и вместе с тем – моему первому робкому шагу к смирению. Да, именно так: к смирению. И хотя само это слово я долго произносил с презрительным смешком, ныне оно мне кажется почти страшным – настолько оно велико.

Дело было несколько лет назад. Я, молодой чиновник, только что получивший место в одном из департаментов, был тогда одержим одной страстью, которую теперь вспоминаю с горьким стыдом, – страстью к «умствованию». Я не играми жил, не вином, не развратом, – нет, моё было хуже: я верил в собственный разум как в идола. Я боготворил мысль, как другие боготворят золото. Я был уверен, что мир держится на логике, что каждое чувство можно разобрать на причины, каждую веру – объяснить, каждого человека – вскрыть, как часовой механизм.

И вот в один вечер я оказался в обществе, где собирались такие же, как и я, – одержимые «раскрыть всё» и «всё объяснить». Петербург тогда кишел подобными кружками: кажется, каждый второй студент и каждый третий чиновник мечтал не только спасти мир, но и переиначить саму природу человека.

Сидели мы тогда в тесной комнате на Васильевском острове; лампа чадила, стены были увешаны картами Европы и рисунками машин, которых никто не видел в реальности, но которыми мы были полны. Среди нас был и один человек – я назову его по инициалам: Н.С. Он казался умнейшим из всех: говорил тихо, но всякий раз, когда он поднимал глаза, в них

загоралась такая сосредоточенная злоба, что становилось страшно.

Он был наш «пророк», наш «знающий». Мы внимали ему, как истине.

В ту ночь он прочёл нам свой новый трактат. Суть его была проста и вместе с тем до крайности дерзка: человек, говорил он, должен освободиться не только от религии, но и от совести как от последних цепей. «Нравственность есть выдумка, – шептал он с каким-то восторгом одержимого. – Это старая одежда, которую пора выбросить».

Мы слушали. Я – слушал.

А затем он сказал то, что мне до сих пор слышится как удар по сердцу:

– Бог, господа, есть последняя иллюзия человечества. Мы должны убить Его в себе. А иначе – никогда не станем свободными.

И вы знаете – я тогда поверил. Да, поверил! И не только поверил – я испытал какое-то мрачное восторгновение. Мне казалось, что я поднимаюсь на какую-то высоту, на которую до меня никто не поднимался, что я один из тех смельчаков, что разрубают последние оковы.

Так начинается гордыня: с восторга перед собственными мыслями.

Вернувшись домой, я долго ходил по комнате, чувствуя себя почти творцом. Я был уверен, что в эту ночь ступил на «путь избранных». Что Бог – лишь детская страшилка, а совесть – культурная привычка. И что уж я-то, я сумею жить «выше добра и зла».

Но тут произошло событие, которого я никогда не забуду.

Утром ко мне явилась дворовая девочка, Таня. Она приносила бельё из прачечной. Маленькая, худенькая, в застиранном платьице, с огромными глазами, которые смотрели так открыто, что мне вдруг сделалось стыдно за вчерашний мой «триумф».

Она поставила корзину и робко сказала:

– Барин… там… мама болеет, и хозяин не даёт нам денег… Может, авансом дадите?

И тут – о, как я это помню! – во мне вдруг что-то вспыхнуло. Мой свежий, ещё не остуженный идол – разум – сказал мне: «Не вмешивайся! Это не твоя забота. Чувство – слабость. Ты вчера поднялся над моралью».

Я стоял как каменный. Девочка смотрела. Молчала.

А я не мог произнести ни слова. Внутри меня вдруг началась битва, такой силы и тяжести, что я почти физически ощутил эту тяжесть в груди. И услышал – не ушами, нет! – а чем-то глубже и страшнее – тихий голос:

«А если Я есть? Если всё это – не игра мысли? Если эта девочка – твой приговор?»

И я дрогнул. Что-то во мне раскололось.

И я дал ей денег – не много, но дал. Но дав, я сам ощутил, как будто меня кто-то ударил по лицу. Не потому, что я сделал добро; нет – потому, что я вдруг понял: всё моё ученое строительство рухнуло от простого детского взгляда. Что вся моя философия – дым, а совесть – не выдумка, а живое существо внутри меня, которое я пытался убить.

С той ночи я уже не мог слушать Н.С. Его слова толкали меня в пропасть. Он говорил о «новом человеке», но я видел вокруг него пустыню, где не растёт ни один живой росток. И впервые я понял суть страшных слов: «Гордость знания делает человека слепым». Да, слепым – потому что она выжигает в нём способность видеть ближнего.

Теперь, перечитывая «Бесов», я ясно вижу: ведь каждый из нас носит в себе своего маленького Петра Верховенского – болтливого бесёнка, который шепчет нам о величии нашего ума и ничтожестве Божьей заповеди любви. И каждый носит в себе своего Кириллова, который хочет доказать миру собственную «божественность» ценой убийства самой души.

Но есть и другая сила – тихая, смиренная, как девочка Таня. Сила, которая одним только взглядом рушит самые хитрые теории. И я знаю: это – голос Христа в сердце человека.

И если мы перестанем его слышать, то ни кружки, ни трактаты, ни самые гениальные конструкции нашего рассудка не удержат нас от того ужаса, который я видел так пророчески ясно: от превращения человека в демона собственной гордыни.

Воспоминание об Оптиной

Из тетради. Простота (Записано не для печати)

Сентябрь. Год не помню точно – путаюсь. Кажется, после «Идиота». Или, может быть, ещё до него – впрочем, это одно и то же.

Я приехал в Оптину не за советом – нет, это была бы ложь. Я приехал за тишиной. Но тишина – вещь страшная: в ней слышно всё. Особенно – себя.

Старец Тихон принял меня без всякой торжественности, без того особого «святого» выражения лица, которого ищут и которого так жадно ждут. Он даже не встал сразу. Сидел у стола, писал что-то мелким, неровным почерком. Я подумал: стар, устал, равнодушен. Мысль эта была глупа – и почти тотчас мне стало за неё стыдно.

– Садитесь, – сказал он, не глядя. – Вы ведь всё равно уже внутри разговора.

Эта фраза меня поразила. Я сел. Он поднял глаза – и посмотрел так, будто не рассматривал, а принимал. Не изучал, не проверял, а принимал – целиком, с тем, что есть.

И вот тут мне стало не по себе.

– Странное дело, – сказал он вдруг, – вы ведь умный человек, Фёдор Михайлович. А мучаетесь как человек, который боится быть простым.

Я хотел возразить. Даже открыл рот. Но слов не нашлось. Да и что бы я сказал? Что я сложен? Что мир сложен? Что Россия сложна? Всё это правда – и всё это уклонение.

– Простота, – продолжал он, – сегодня никому не нужна. Её любят как икону – издали. Но попробуйте жить рядом с ней.

Он усмехнулся, но без насмешки.

– Простота безоружна. А вы ведь знаете, – он посмотрел прямо, – что человек без оружия страшен.

Я вздрогнул. Безоружный – страшен? Я привык думать наоборот.

– Он страшен, – пояснил старец, – потому что в нём нет тайника. А тайник – последняя надежда гордого.

Мы замолчали. Я чувствовал, как внутри меня что-то сопротивляется, словно меня медленно, но неумолимо раздевают – не тело, а душу.

– Простота, – сказал он после паузы, – это не наивность. Не путайте. Наивность – от слабости. Простота – от силы. От внутренней цельности.

Он говорил тихо, но каждое слово ложилось тяжело, почти болезненно.

– Простота – это сердце без кривизны. Ум без лукавства. Слово без запасного смысла. Святитель Василий Великий говорил: простота – подобие Божие в душе. А Бог ведь не прячется.

Я подумал о своих героях. О тех, кого я сам доводил до бездны. И вдруг ясно увидел: больше всего я боялся простых.

– Вы ведь уже это написали, – сказал старец, словно читая мою мысль. – В «Идиоте».

Я вздрогнул снова. Это имя он произнёс без всякого акцента, почти буднично.

– Князь ваш, – продолжал он, – не глуп. Его мир считает глупым, потому что он не защищается. Он не строит обороны. Он не подозревает.

– Но ведь его уничтожают! – сказал я почти с раздражением. – Его простота – причина его страдания!

Старец посмотрел внимательно. Очень внимательно.

– Нет, – сказал он. – Его страдание – следствие чужой лжи. Простота не убивает. Она освещает. А в свете видно то, что люди скрывают даже от самих себя.

Он встал, прошёлся по келье – шаги его были медленные, шаркающие.

– Он ведь никого не обличает, ваш князь. Он просто есть. И этого достаточно, чтобы вокруг началось разложение.

Я вспомнил Пилата. Христа. Это молчание, от которого некуда деться.

– Христос ведь тоже был прост, – сказал я тихо.

– До предела, – ответил старец. – До Креста.

Он остановился у окна.

– Простота – мать всех добродетелей. Без неё нет ни веры, ни любви. Есть только их подделки.

Я хотел записать это, но не решился. Боялся превратить в мысль то, что должно было остаться раной.

– Даже молитва, – продолжал он, – если не проста, становится холодной. Пышной. Правильной.

И мёртвой.

Он вдруг резко повернулся:

– Вы знаете, сколько пустых молитв читается каждый день?

Я молчал.

– Потому что человек молится не Богу, а себе – умному, правильному, благочестивому. А простое «Господи, помилуй» – сказать страшно. Там ведь нечем прикрыться.

Он подошёл к столу, взял хлеб.

– Вот хлеб, – сказал он. – Ломоть. Если вы разделите его – это просто. Но в этом больше вечности, чем в тысячах слов о любви.

Мне стало тяжело дышать. Я – человек слова – чувствовал себя обнажённым.

– В раю, – продолжал он, – человек был прост. А потом испугался. И сложность стала его одеждой. Рассуждение. Подозрение. Самооправдание.

Он посмотрел на меня пристально:

– Чем ближе человек к Богу, тем он проще. Старики это знают. Дети – тоже. А умные – забывают.

Я вспомнил, как сегодня простота кажется подозрительной.

– Улыбнулся – значит, врёт, – сказал я.

– Именно, – кивнул старец. – Сказал правду – значит, не договорил. Сделал добро – значит, ждёт платы. И человек выбирает хитрость, потому что она кажется безопаснее.

Он вдруг устало сел.

– Но сила не в сложности. Сложность – от страха. Простота – от любви.

Мы долго молчали.

– Простота – это доверие, – сказал он наконец. – Не слепота. А вера. Когда ты больше не живёшь в обороне.Когда веришь, что Бог управляет всем – ты становишься лёгким. Как птица. Как ребёнок. Как старик перед смертью.

Я вдруг понял, что боюсь этого состояния. Бояться больше нечего – вот что страшно.

– На Страшном суде, – сказал старец почти шёпотом, – Господь, может быть, спросит не о грехах. А спросит: почему ты не был прост? Почему не был собой? Почему не доверился?

Эти слова я не записал тогда. Записываю сейчас – с дрожью.

Я ушёл от него другим. Не исправленным. Не утешенным. Но – разобранным.

Теперь, спустя годы, я думаю: может быть, святость – это простота, доведённая до конца. Простота, в которой уже нечего скрывать. Простота, ставшая светом. В простоте сердца своего

человек и велик, и свят. В ней вся сила, и в ней – образ Божий.

И если Христос живёт где-то – то, может быть, именно там.

"Деятельная любовь… ах, какая это штука жестокая, страшная!

По сравнению с мечтательной – просто адская".

Ах, в какие дни приехал я туда, в те самые дни, когда мир внешний, этот неумолимый, беспощадный мир, уже не просто тревожил душу мою, а душил её, давил, как камень тяжёлый на грудь грешника! Дела, письма неотвеченные, голоса в трубке, эти голоса, кричащие, требующие, – всё слилось в один сплошной гул, от которого хотелось бежать, скрыться хоть куда-нибудь, хоть в бездну какую, лишь бы не слышать более этой суеты адской. И вот – келья старца. Тесная, низкая, душная почти, с потолком, нависающим, как совесть неумолимая. Самовар едва шипел, чай в чашках остывал медленно, пар поднимался тонкой, жалкой струйкой и тотчас исчезал, словно надежда какая в душе моей.

Сначала я ещё слышал мир за стеной: стук телеги далёкий по дороге монастырской, голоса монахов в коридоре, шаги чьи-то, даже собственное дыхание моё казалось мне громким, преступно громким в этой тишине. Потом всё ушло. Не вдруг – нет, постепенно, мучительно постепенно, как кровь уходит из раны, как жизнь уходит из тела грешного. Осталась тишина одна – густая, тяжёлая, почти невыносимая. В ней всё становилось острее, больнее: скрип половицы под ногой моей, лёгкое движение руки старца, когда он подвинул чашку к себе – всё это резало душу, как нож.

Он сидел напротив и не спешил говорить. Смотрел не прямо в глаза – нет, чуть мимо, на стол, на стену, на пар этот жалкий от чая. Но от взгляда этого уйти было некуда, некуда! Он не обвинял, не судил – просто был, и в этом бытии его было больше суда, нежели в словах самых страшных. Под этим взглядом начинало проступать всё то, что я прятал даже от самого себя годами: тщеславие моё мелкое, низкое, страх боли, привычка выбирать лишь удобное, приятное, безопасное для души моей трусливой.

И вдруг он сказал – тихо, почти шёпотом, себе под нос, будто не мне, а собственной совести своей:

– Деятельная любовь… ах, какая это штука жестокая, страшная! По сравнению с мечтательной – просто адская.

Я вздрогнул всем существом моим. В голове моей всё, что я доселе звал любовью, вдруг оказалось лёгким, сладким, фальшивым. А здесь говорилось о другом – о любви, что не ждёт удобного часа, не ищет взаимности, не отступает, когда сердце уже кричит: довольно, не могу более! О любви, что идёт напролом, сквозь боль, сквозь разрыв сердца, сквозь унижение.

Он помолчал. Я тоже. Чай остыл совсем, но никто не прикасался к чашкам. Молчание это было невыносимо. Оно давило, терзало, выдавливало из меня все оправдания мои привычные, все слова лживые, все самообманывания мелкие.

Потом он добавил – тихо, но каждое слово как удар:

– Любить по-настоящему – значит не тогда, когда легко, когда сердце поёт. Нет! Тогда, когда всё внутри кричит: хватит, дальше невозможно, когда душа разрывается на части, когда мир весь против тебя… вот тогда только и начинается любовь истинная, деятельная.

Я вспомнил вдруг все свои «любовные» попытки прежние – о, как они были жалки, как фальшивы! Как аккуратно я дозировал заботу свою, чтобы не уязвиться слишком, как отступал при первом намёке на отказ, как радовался втайне, когда меня хвалили за доброту мою. Всё это предстало передо мной во всей наготе своей низкой, отвратительной.

Молчание длилось. Оно не было пустым – нет, оно работало, как палач невидимый. Выдавливало из меня последнее, оставляя душу обнажённой, дрожащей, беспомощной.

И ещё сказал он:

– Страдание… оно очищает. Без него сердце остаётся тесным, малым, не вмещает ничего истинного. Человек мнит себя свободным, а на деле – раб желаний своих, раб мелкий, презренный.

Я не ответил. Да и что мог я ответить? Всё, что мог бы сказать, уже звучало внутри меня – и звучало ложно, подло.

Когда я встал уходить, он не благословил громко, не напутствовал словами. Просто посмотрел – тем же спокойным, проникающим взглядом, от которого сердце моё сжалось в комок. И этот взгляд остался со мной. Живёт во мне поныне.

Теперь, когда шум внешний снова наваливается, когда дела, голоса, суета эта проклятая одолевают вновь, я иногда ловлю себя на том, что вспоминаю ту келью. Не слова даже – тишину ту страшную. И то, как в ней всё мелкое, ложное отваливалось само, оставляя место чему-то другому – неуютному, жёсткому, но живому, истинно живому.

Иногда я выбираю не отступить, хотя всё внутри кричит: беги, спрячься! Иногда иду дальше, хотя сердце ноет, разрывается. И тогда понимаю: та тишина не ушла. Она во мне теперь. Как напоминание вечное. Как мерило неумолимое. Как пространство, где нет более места иллюзиям моим грешным.

Оптина не осталась там, за стенами монастырскими. Она теперь внутри меня – тихая, строгая, беспощадная к лжи моей. И в этой тишине, странное дело, становится легче дышать – дышать по-настоящему, впервые за долгие годы.

«… у Бога радость всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник пред Ним от всего своего сердца на молитву становится».

Ах, друзья мои, как же живо вспоминается мне то лето 1878 года, когда, измученный своими внутренними бурями, я, решился на паломничество в Оптину пустынь. Душа моя тогда была в смятении: после смерти моего малютки Алеши, после тех мук, что терзали меня в "Подростке" и "Братьях Карамазовых", я искал умиротворения, искал той искры божественной, что могла бы осветить хаос моей жизни. Оптина – это обитель, где, как шептали, старцы говорили с Богом лицом к лицу, и я, скептик и страдалец, поехал туда, не зная, что найду.

Прибыл я в монастырь под вечер, когда солнце клонилось к закату, окрашивая леса в багрянец, словно напоминая о крови Христовой. Монастырские стены встретили меня тишиной, прерываемой лишь колокольным звоном да шелестом листьев. Меня провели к старцу Тихону – тихому, седобородому иноку, чьи глаза, глубокие, как колодцы, казалось, смотрели прямо в душу. Он был не из тех шумных проповедников, но из тех, кто молчит больше, нежели говорит, и в молчании его таилась мудрость веков. Духовником его, как мне потом сказывали, был сам Амвросий, но в Тихоне я увидел нечто от Зосимы, которого я сам выдумал, да так, что он ожил

в реальности.

Мы сели в его келье – скромной, с иконами в красном углу и стопкой книг на столе. Четки из темного дерева лежали перед ним, и он перебирал их пальцами, словно нить жизни.

– Что привело тебя, сын мой, в эту пустынь? – спросил он мягко, с той интонацией, что сразу проникает в сердце.

Я, запинаясь, поведал о своих сомнениях, о том, как мир кажется мне ареной страданий, где Бог молчит, а человек корчится в одиночестве.

– Молитва, батюшка, – сказал я, – что она? Пустые слова в пустоте?

Старец улыбнулся уголком рта и начал говорить, и слова его, простые, как хлеб насущный, пронзили меня, словно кинжал.

– Молитва, чадо, – это дыхание души, – произнес он, и голос его был тих. – Что может быть загадочнее и естественнее для человека? Это таинство, сокрытое в глубине сердца, то неприметное движение, что тянет нас к Богу, даже когда мы сами того не ведаем. Не думай, что молитва – лишь слова, заученные с детства, произносимые в церкви или у постели. Нет, это акт самораскрытия, когда человек, оставшись один на один с вечностью, сбрасывает все маски, что носит пред миром. В молитве душа обнажается пред Творцом, и это момент истины, болезненный, но необходимый.

Я слушал, и перед глазами моими вставали образы моих героев: Раскольников, корчащийся в своих грехах, или князь Мышкин, ищущий чистоты в мире лжи.

– Но как же, отче, – спросил я, – молитва становится средством самопознания? Ведь часто мы молимся не в покое, а в буре, когда все рушится вокруг.

Старец кивнул, перебирая четки:

– Именно так, сын мой. В моменты бедствий, сомнений и отчаяния человек бросается к Богу, как к последней надежде. Но молитва – не просто крик о помощи, не прошение о хлебе насущном. Это процесс очищения, возвращения к себе истинному. В ней мы встречаемся не только с Богом, но и с собою. Начинаешь молиться – и вдруг выплывают страхи, грехи, сомнения, что таились в потемках души. Молитва вытягивает их на свет, заставляет взглянуть без иллюзий. Это тяжелое испытание, но без него нет роста.

Он помолчал, глядя в окно, где сумерки сгущались, и продолжил:

– Поле души – поле битвы, Федор Михайлович. Молитва – не тихий разговор, но внутренняя война. Битва за чистоту мысли, за искренность, за готовность принять волю Божию, какой бы она ни была. Искушение сомнения приходит к каждому: «А услышит ли меня Бог? Стоит ли молиться, если все предопределено?» Но в этом и решается исход. Молитва требует доверия, а доверие – это смирение. Человек горд, он хочет все сам, по своим расчетам. Но молитва учит: есть Сила выше нас, превышающая наши планы.

Я почувствовал, как горло сжимается от воспоминаний о своей собственной гордыне – о тех годах в Омске, на каторге, где я думал, что Бог оставил меня.

– А утешение, отче? – прошептал я, заглядывая ему в глаза. – Есть ли оно в этой битве?

Старец положил руку на мою:

– Да, чадо, молитва – не только битва, но и утешение. Когда пройдешь через искушения, найдешь силы молиться искренне – душа обретает покой. Не мир внешний меняет молитва, но мир внутри тебя. Она открывает духовный горизонт, показывает, что жизнь – не череда событий, а связь с вечностью. И вот озарение: молитва – не только твой путь к Богу, но и Его путь к тебе. Через нее благодать проникает, очищая, исцеляя, возвышая.

Тут старец взял четки и начал перебирать их медленнее, бормоча под нос:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Я замер, слыша эту Иисусову молитву, простую, как вздох.

– Вот, сын мой, – сказал он, не прерывая, – странное дело: повторять одни и те же слова, словно в них все спасение. А ведь так и есть! За простотой сей скрыта вся человеческая судьба, стремление к Богу и борьба с собою. Человеку трудно молиться: ум наш неспокоен, как море в бурю, мечется в мыслях о прошлом, будущем, планах. Но эта молитва – ответ на метания. В ней призываешь Имя, что соединяет с Богом, как мост из суетного мира в святой.

Он поднял глаза, полные света:

– Парадокс в ней: простота и трудность. Слова можно повторять бесконечно, даже не думая, но истинно молиться – значит отречься от себя, от мыслей, желаний. Говоря «помилуй мя», признаешь зависимость от Бога. Гордыня восстает, хочет силы своей, но молитва учит смирению. И чудо: повторяя с верой, меняешься незаметно. Ум успокаивается, сосредотачивается на Боге, и в сердце просыпается радость, уверенность, что Он слышит, несмотря на грехи наши.

Я спросил:

– Но как удержаться, отче, когда мысли одолевают, лень, скука, отчаяние?

Старец вздохнул:

– Постоянством, чадо. Душа склонна к метаниям, но молитва учит стойкости. Трудись долго, через непонимание – и обретешь связь с Богом живым, в сердце. Не абстрактным, в небесах, но рядом, знающим немощи наши. Это путь к познанию себя и места в мире – терпеливый труд, смирение, вера, надежда.

Он помолчал, перебирая четки, и снова заговорил:

– Молитва, сын мой, это глубочайшее ощущение присутствия Бога. Это не простое религиозное волнение, но глубинное состояние души, отражающее поиски смысла. Оно скрыто и явно, как мрак и свет, затрагивает не моменты, но суть внутреннего мира. Рациональное и иррациональное пересекаются в нем, вера и сомнение сталкиваются. Начало его – стремление к высшему смыслу, – продолжал он. – Сталкиваясь с непознаваемым, человек ощущает нужду в познать Творца. В отчаянии и радости осознает малость свою и тянется к бесконечному. Это двигатель поисков истины.

Я кивнул, вспоминая Ивана Карамазова и его бунт против Бога.

– Но сомнение, отче? – спросил я. – Оно жжет, как огонь.

– Да, – ответил старец, – чувство Бога сопровождается борьбой с сомнением. Страх пред непознаваемым, кризис веры – но в этой борьбе рождается подлинное понимание. В этом трансформация, – добавил он. – Чувство Бога меняет личность, формирует мораль, делает чувствительной к добру и злу. Оно основа гармонии, понимания себя и мира. Чувство Бога связано с любовью и состраданием. Осознавая присутствие Высшего, человек находит в себе милосердие, превосходящее границы. Это источник силы, вдохновения, влияющий на жизнь и отношения.

Мы говорили до глубокой ночи. Он мне подарил свои четки. Тогда в Оптиной я нашел не ответы, но вопросы, что ведут к истине. И ныне, перебирая те четки, сердцем повторяю: "Господи Иисусе Христе, помилуй мя". Ах, как просто и как глубоко!

Интердюдия. Рассказ старца Амвросия Оптинского о Фёдоре Михайловиче Достоевском

Скажу вам не о книжном человеке, а о душе живой, страдальческой, которую Господь провёл через смерть – и вернул к жизни.

Это о Фёдоре Михайловиче Достоевском. Видел я его, говорил с ним, и сердце его помню до сих пор.

Пришёл он к нам после великой скорби – умер у него сынок, Алёша. Глаза у него были красные, руки дрожали, голос еле слышен. Сел напротив и молчит.

– Тяжело, – говорит, – батюшка… душа пустая.

А я ему:

– Ну, брат, когда душа пустая, – значит, Господь хочет туда войти.

Мы сидели с ним долго, и он рассказывал про свою жизнь – всю, как она есть, без прикрас. Говорил про юность, про гордость, про то, как хотел устроить мир без Бога, по-умному, по-человечески. А потом Господь показал ему, что разум без веры – как лампа без масла. Света нет, а дым есть.

Он рассказал мне про казнь. О, – это великая тайна.

Вывели их тогда на Семёновский плац. Мороз, солнце низко стоит, барабаны гремят. Прочитали приговор – расстрел.

Поставили у столба. Белые рубахи – как саваны. И вот: пять минут до выстрела. Пять минут.

– Батюшка, – говорит он, – за эти пять минут я прожил всю жизнь. Всё, что казалось важным – суета, прах. Всё, что было забыто – всплыло. Вспомнил мать, детство, молитвы… И понял: жизнь – дар, а я всё время жил как должник, не благодарил.

Он сказал, что в ту минуту ему открылось небо – не глазами, а сердцем. Стало ясно: смерть не конец, а порог.

А потом вдруг объявляют: «Помилованы!» И вот что странно – радости особой не было, только тихое изумление. Словно кто-то сказал ему: «Теперь живи по-новому». И он понял: прежний Фёдор умер, а новый только начал дышать.

Вот так Господь учит. Одному – через болезнь, другому – через бедность, третьему – через страх смерти. Но цель одна: чтоб человек перестал быть камнем и стал сердцем.

После казни была каторга. Годы страдания. Он говорил:

– Там я понял, батюшка, что даже в аду человеческом есть место для света.

Заключённые – злые, израненные, а как наступила Пасха, запели: «Христос воскресе из мертвых…» И он заплакал. «Я понял, – говорит, – что Бог рядом даже там, где всё мерзко и безнадёжно».

Вот это и есть тайна: нет такого места, куда бы Христос не сошёл. Он и во ад сошёл, чтобы и оттуда вывести людей. Потому и Достоевский потом писал, что не верит в безвозвратную погибель – верит, что и в аду можно воззвать: «Господи, помилуй», и Господь услышит. Не самоуверенно – а с болью, с надеждой на милость Божию, Которая выше суда.

Он спрашивал меня:

– Батюшка, а если человек согрешил страшно, можно ли ему спастись?

Я сказал:

– Если кается – можно. Если не кается – не может.

И добавил:

– Бог милосерден, но не насильно спасает.

Он кивнул и тихо сказал:

– Вот об этом и хочу писать всю жизнь.

А ведь в его книгах всё это и есть: борьба света и тьмы в сердце человека. «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» – не романы это, а исповедь человечества. В каждом герое он видит себя – грешного, ищущего, упавшего и встающего.

Но если всё это сжать в одно зерно, то зерно это – Семёновский плац.

Там он понял, что смерть – зеркало. Смотришь в неё – и видишь, кто ты есть.

Один – богохульствует, другой – молится, третий – плачет.

А кто увидит в смерти лик Христов, тот уже не умрёт, потому что в нём начинается воскресение.

Он говорил мне:

– Батюшка, я понял, что смерть – это свет, слишком яркий для наших глаз.

Я сказал:

– Вот, брат, теперь ты и стал христианином.

Так Господь водит человека. Через страдание – к милости, через страх – к любви.

Потому я и говорю вам, детки: не бойтесь скорбей. Они горькие, но целебные. Как лекарство, от которого лицо морщится, а душа оживает.

Когда приходят болезни, потери, страхи – не унывайте. Скажите: «Господи, благодарю Тебя, что Ты пришёл ко мне». И вы почувствуете: боль становится теплее, а сердце – мягче.

Фёдор Михайлович потом часто говорил, что каторга и казнь были для него не наказанием, а школой. Там он узнал покаяние, то есть жизнь настоящую.

И я скажу вам: покаяние – это не слёзы только. Это перемена дыхания. Человек раньше дышал собой, а потом начинает дышать Богом.

Вот почему, чада мои, всё, что страшит нас, – полезно. Смерть, страдания, утраты – это ключи от дверей, за которыми начинается радость.

Смерть не враг. Она – вестница. Через неё мы переступаем в жизнь, где нет ни ночи, ни страха.

И когда Достоевский пришёл в Оптину, он уже знал это сердцем. Сидел, молчал, потом сказал:

– Батюшка, я теперь ничего не боюсь.

А я ему:

– Вот теперь ты жив.

Так и вы, детки, живите – не умом, а сердцем, не страхом, а благодарностью. Каждое утро встречайте, как последний рассвет, и каждое «Господи, помилуй» говорите так, будто от него зависит вся вечность.

А когда придёт смерть – не бегите. Встаньте, перекреститесь и скажите:

– Господи, я иду к Тебе.

И тогда смерть станет не пропастью, а объятьем.

А я, грешный Амвросий, прошу ваших молитв, чтоб и мне Господь дал такую веру, какую дал Фёдору Михайловичу – веру, прошедшую через пламя и ставшую светом.

Благослови вас Господь, чада мои.

Скорбите – но радуйтесь. Плачьте – но верьте.

Письмо иеромонаха Тихона Фёдору Михайловичу Достоевскому

Многоуважаемый и дорогой во Христе Фёдор Михайлович!

Вы писали мне о разговоре, случившемся с Вами, когда один из собеседников, рассуждая о героях Ваших произведений, дал им такую оценку: «Это психология людей без стержня, с некрепкой нервной системой, без твёрдых принципов, нестойких».

И что Вы, выслушав сие, ответили лишь: «Могу только перекреститься и сказать: “Слава Тебе, Господи, что я не на их месте”» – и спросили меня, что именно я разумею в этих словах.

Отвечаю Вам просто и со всей откровенностью сердца.

Когда я говорю: «Слава Тебе, Господи, что я не на их месте», – я говорю это не с осуждением, но с благодарностью и страхом. Ибо герои Ваши – не просто люди слабые или надломленные. Это души, доведённые до предела, до последнего человеческого крика. Это сердца, поставленные на край бездны, где всякая опора колеблется и каждый шаг может обернуться падением.

Люди охотно судят: «Без стержня, без веры, без принципов». Но кто из нас дерзнёт утверждать, что сам устоял бы, оказавшись в такой глубине боли, отчаяния и сомнения? Если бы Господь хотя бы на краткий миг отнял Свою руку, удерживающую нас от падения, – не всякий ли из нас пошатнулся бы? Потому я и перекрестился: не из чувства превосходства, а из трепета и благодарности.

Господи, сохрани и меня от подобного испытания.

Вы, Фёдор Михайлович, показали людей, у которых вера болит, совесть не умолкает, сердце разрывается. В этом – их мука, но и их правда. Они ищут Бога – пусть в темноте, пусть на ощупь, пусть со слезами и криком. Но они ищут.

А страшнее всего – иное: равнодушие. Когда человек живёт спокойно, устроенно, но уже ничего не ищет, не страдает, не молится и не вопрошает. Страдание – ещё признак живой души; равнодушие же есть начало её смерти.

Вот почему я сказал те слова. Не из осуждения, но из сострадания. И из памяти о том, что всякий человек, при иных обстоятельствах, при иной мере боли, мог бы оказаться на их месте – и, быть может, не устоять.

С молитвой о Вас и с глубоким уважением,

I. Тихон

Дневник писателя

Зал Санкт-Петербургского университета. Зал полон. На трибуне Федор Михайлович Достоевский человек с усталым, нервным лицом. Он говорит, почти не глядя на публику, временами резко поднимая голову и вперяя взгляд в толпу. Говорит порывисто, с длинными паузами, запинками, словно вырывая слова из самого нутра. Голос то сух и резок, то неожиданно смягчается, почти до шёпота. В руках он мнёт листки, но не смотрит на них.

– Милостивые государи и милостивые государыни!

Он откашливается..

– ..Меня пригласили… да. Поговорить. О «Дневнике». О времени нашем. О том, что болит. И ведь не скажешь вполовину, всё равно не поймут, осудят, засмеют. А молчать – нет, уж нельзя, стыд сожжёт, внутреннее беспокойство жизнь отравит. Потому и буду говорить, хоть и предвижу, как многим покажется странным, диким, отсталым то, что накипело.

Говорят, я «мрачный писатель». Что я в язвах копаюсь. А где же ещё копаться-то, как не в ране? Вся наша человеческая жизнь нынче – одна сплошная, не закрывающаяся рана. И одна из самых гноящихся – это наше отношение… нет, даже не отношение – наш побег. Наше добровольное, почти торжественное бегство от Церкви.

Не подумайте, что я о ризах, о свечах, о земных поклонах буду толковать. О, нет! Это всё оболочка, форма. Я о духе. О том духе живом, который из общества нашего словно выходит. Иссякает. Сохнет. И на место его водворяется дух иной – трезвый, холодный, расчётливый, самодовольный и… страшно одинокий.

Вы посмотрите вокруг! Особенно вы, молодые, пылкие, образованные. Вы в храм-то когда заходили? Не на Пасху, из любопытства, а просто так, в будний день, когда там три старушки да дьячок? Нет. Вам там… скучно. Вам непонятно. Вам кажется это ненужным, отжившим, мракобесным даже. Вы предпочтёте любое общество, любой клуб, любой диспут, где спорят о «новых людях», о прогрессе, о переустройстве всего человеческого бытия на научных началах. Там горизонты! Там свобода! Там братство! А в церкви – суеверие, темнота, попы невежественные, службы длинные…

Так-то оно так. Вижу, понимаю. Да как же и не понять? Я сам через этот огонь прошёл, я этот яд в себе носил. Но ведь в том-то и беда, господа, что вы смотрите на Церковь, как смотрит критик-иностранец на наши села: видит грязь, бедность, невежество и пишет – «дикий народ». А души-то народной, её-то сокровенного строя, её-то Христа, в неё заложенного, он и не приметил, да и приметить не может. Так и мы: за формами, за несовершенствами человеческими, за Ферапонтами нашими, которых, увы, хватает, мы разучились видеть саму суть.

А суть-то в чём? Суть в том, что Церковь – не здание. Она – потребность. Жажда. Та самая вековечная, неизбывная тоска человеческого духа по высшему смыслу, по примирению со страданием, по той правде, которая не на земле. Народ, простой народ наш, это инстинктивно чувствует. Он идёт в церковь не доказательств искать, не философию слушать. Он идёт страдать своё страдание и радоваться своей радости перед Лицом Того, Кто выше всякого страдания и радости. Он причащается – не как обряду, а как таинству соединения с Вечностью. А мы, «европейцы», мы всё хотим объяснить. Нам подавай логику. Мы в таинство входим с циркулем и микроскопом и требуем: покажи, докажи, обоснуй! Да ведь это всё равно что требовать у влюблённого химического анализа его чувства! Рассудком убивается вера. Это первое.

Второе – это наше чудовищное, барское, высокомерное отношение к священству. «Поп невежда». «Поп – слуга правительства». «Поп – обрядчик». Ах, господа, господа! Какая лёгкость в суждениях! Мы судим целое сословие, этих часто бедных, задавленных нуждой, окружённых нашим же презрением людей, с высоты своего «полупросвещения». Вы требуете, чтобы сельский батюшка, у которого десять детей, корова и прихожане-нищие, был богословом, философом, полемистом, чтобы он вам на каждый ваш язвительный, вычитанный у последнего немецкого материалиста вопрос – отвечал энциклопедически! Да он и ответит-то вам не словами, а жизнью своей. Часто тяжкой, безотрадной, полной ежедневного, незаметного подвига терпения. Но вам этого мало. Вы хотите слов.

И не найдя их – отворачиваетесь с победным видом: «Видите, ему нечего сказать!»

А что если искать нужно не слов, а молчания? Не ответов, а чуда? Чуда преображения собственной души? Ведь Христос-то ведь тоже не академии учреждал. Он говорил притчами, которые простой рыбак понимал, а мудрец книжный – нет. Потому что мудрец искал ума, а рыбак – сердца.

Вот мы и утратили это искусство – слушать сердцем. Мы всё головой. Головой строим системы, головой разрушаем миры. Иван Карамазов – это же наше всё, наше порождение, наша гордость и наше проклятие! Этот блестящий, страшный ум, который логически пришёл к тому, что «всё

позволено». Он не злодей, он даже, может, и добр бы хотел быть. Но он поставил свой ум выше совести. Он захотел разрешить вопрос о страданиях невинных детей теоретически, уравнением, и, не разрешив, в бешенстве возвращает Богу билет. Великолепно! Гениально! А что на деле-то? На деле выходит, что раз Бога нет и бессмертия нет, то и критерия добра-зла нет. Остаётся одно: моя похоть. Хочу – убиваю старуху-процентщицу (всё равно «вошь»). Хочу – кончаю самоубийством, как Кириллов, доказывая свою безбожную волю. Хочу – устраиваю кровь и хаос, как Пётр Верховенский, ради «светлой идеи». Это ли не плоды нашего отхода от той почвы, где зло – есть зло, а добро – есть добро, а не относительные понятия?

Вы скажете: «Да в церкви-то этой истинной любви и нет! Там фарисеи, там ханжи, там Ферапонты!» Есть! О, как есть! И я их первым готов бичевать. Ферапонт, этот мрачный аскет, видящий в старце Зосиме ересь, – он ведь тоже «церковник». Но Церковь-то не в Ферапонтах. Она – в Зосиме. А кто такой Зосима? Это ответ на все ваши сомнения. Это не «поп», это – свидетель. Свидетель иного бытия. Он не догмами сыплет, он любовью исцеляет. Он говорит Алеше: «Люби всё создание Божие, и целое, и каждую песчинку… Люби животных, люби растения…» Это разве обряд? Это – мистическое прозрение всеединства. Он учит ответственности всех за всех. Не на словах, а на деле: ты виновен за всех и за вся. Вот она, настоящая, глубинная социальность, против которой все ваши системы – детская игра! Она из любви растёт, а не из ненависти и гордыни.

А мы что? Мы хотим построить братство, возненавидя брата. Мы хотим осчастливить человечество, презирая человека. Мы любим «народ» абстрактно, но плечом к плечу с живым мужиком в вагоне третьего класса ехать для нас – пытка. Вот в чём наша беда! Церковь же зовёт к обратному: начни с малого. Увидь в ближнем образ Божий, даже загаженный. Поклонись ему внутренно. Победи в себе гордыню, это адское начало, которое и есть корень всех наших бед.

Нам страшно войти в церковь, потому что там потребуют смирения. А мы смириться не можем. Мы «гении», мы «новые люди», мы «сильные личности». Нам легче принять идею, что мы – случайные всплески в океане материи, чем принять, что мы – дети Божии, обязанные любовью. Первое – гордо, трагично, «по-европейски». Второе – «унизительно». Вот она, психология-то!

И знаете, что самое ужасное? Что этот исход из Церкви, это охлаждение – есть предвестие чего-то страшного. Я пророчествовать не хочу, но… вижу. Когда из народа вынут стержень веры, когда его научат, что Бога нет, а есть только интересы классовые или финансовые и борьба, – что останется? Останется зверь, но зверь уже не простодушный, а озлобленный теорией. Он будет резать не во имя страсти, а во имя «справедливости». Он будет разрушать храмы, как рассадники мракобесия. Он будет объявлять «всё позволено» уже не для отдельного Наполеончика, а для целых масс. И построит не братство, а Вавилонскую башню, которая рухнет в новое рабство. Великий Инквизитор-то ведь не зря выдуман! Он берёт у людей их свободу – ту самую, которую даёт Христос и которую люди так боятся нести, – и даёт им взамен хлеб, чудо и авторитет. И они, уставшие от свободы, с радостью соглашаются. Не видите ли вы, как готовятся эти новые «инквизиторы», эти устроители человеческого муравейника? Они уже стучатся в двери, они зовут за собой, обещая накормить и устроить – только отдай им свою совесть, свою веру, свою личность.

Так куда же бежать? Опять в подполье? В бунт? Нет. Бежать-то некуда. Выход один – перерождение. Не вовне, а внутри. Надо начать с себя. Перестать смотреть на веру как на пережиток. Попробовать подойти не как судья, а как кающийся. Задать себе не вопрос «Верю ли я в Бога?» – это слишком отвлечённо. А вопрос: «Могу ли я жить, по-настоящему жить,

считать себя нравственным существом, если убеждён, что жизнь моя – случайная вспышка между двумя вечностями небытия, что любовь моя – химия, совесть – условный рефлекс, а страдания ребёнка – просто дисгармония мировой материи?»

Вот когда этот вопрос встанет во всей своей неумолимой остроте, тогда, может быть, и поймёте вы, почему народ идёт в церковь. Он идёт туда не за ответами головы, а за утолением тоски сердца. За тем, чтобы прикоснуться к вечности. Чтобы в унижении своём услышать: «Я есмь воскресение и жизнь». Чтобы в горе найти не объяснение, а сочувствие Божеское.

«Дневник писателя» мой – это и есть попытка, кривая, неумелая, задать этот вопрос всем нам, каждому из нас, стоящим на страшном распутье. Мы можем пойти путём «красивых» идей и кончить кровавым безумием. А можем – через гордыню, через сомнения, через муки – найти дорогу к тому Храму, который не из камня, а в душе человеческой. Он всегда был там. Мы просто наглухо закрыли двери и завалили их хламом своих теорий.

Простите, если резко сказал. Болен я этим. Очень болен. И вижу, что болезнь общая, только многие ещё не чувствуют своей температуры. Но почувствуют. Непременно почувствуют.

А тогда… тогда, может, и вспомнят эти бесхитростные слова, которые не умом выдуманы, а выстраданы: «Господи, верую! Помоги моему неверию».

Спасибо вам за терпение.

Разговор о невыразимом

– Друг мой… вся человеческая жизнь, если сорвать с неё всё лишнее, всю шелуху, сводится к одному страшному и в то же время единственному вопросу: что есть любовь?

Фёдор Михайлович сел тяжело, будто на плечи его легло сразу всё прожитое – вся Сибирь, вся каторга, вся кровь и надежда человечества. Он закрывал глаза долго, как перед исповедью, и я почувствовал: сейчас он скажет не то, что надо, не то, что принято, а то, что невозможно не сказать, иначе – задохнётся.

– Я искал её, – протянул он тихо, – как ищут спасения: слепо, отчаянно, до боли в сердце. Искал в матери, в детях, в женщинах, в страдающих, в преступниках – да, в преступниках особенно. Их-то никто не любит. А ведь там, в самых низинах, часто живёт то, что выше всех наших благодатных мечтаний.

Он открыл глаза – и в этом взгляде было столько прожитой муки, что я не выдержал и отвёл свой.

– Ты помнишь Сонечку? – спросил он внезапно. – Ведь она… она, выброшенная, растоптанная – и всё же сумела любить. И не просто любить, а так, как будто и не она согрешила, а мир вокруг неё. Так любить может лишь тот, кто сам живёт на дне, но сердце его – тихое озеро, в которое Бог заглянул однажды и не отвернулся.

Он встал, прошёлся по комнате, словно некуда было деть внезапно вспыхнувшую боль.

– Любовь, – сказал он резко, – не начинается там, где нас любят. А там, где мы решаем любить. Мы сами. Сами! Безо всяких гарантий, без взаимности, без будущего… вот тогда она и начинается. Ты понимаешь? Там. Где человек перестаёт требовать и начинает отдавать. А это – мука. Настоящая. Такая же, как покаяние.

Он остановился, словно сражённый воспоминанием.

– В Сибири… там я понял много того, на что у столичного человека не хватает ни смирения, ни боли. Я видел убийц, которые ночью плакали над молитвенником. Видел разбойника, который дал мне свою последнюю корку… последнюю, понимаешь? И подал так осторожно, будто это было что-то святое. И я – я, гордый, уязвлённый тогда писатель – вдруг понял: любовь живёт везде, куда человек допускает хотя бы луч света. И даже самый закоснелый грешник хранит искру, которую можно разжечь.

Он сел рядом, почти вплотную, наклонился.

– Люди… ах, люди ведь совсем не знают, что такое любовь. Мы мечтаем, чтобы любили нас. Чтобы нас берегли, жалели, несли на руках. А сами? Сами – холод. Сами – страх. Мы бережём своё сердце, как скупец деньги: «Не отдам… вдруг разобьют». Но знаешь, в чём ужас? – Он прошептал почти в ухо. – Пока человек бережёт своё сердце, любовь в нём не родится. Она приходит только к тем, кто решился выйти безоружным – под удар.

Он вздрогнул, будто от собственной мысли.

– Потому-то князь Мышкин и казался всем идиотом. Да не он идиот – мы. Мы смеёмся над любовью, потому что она разоблачает нас. Любящий – всегда уязвим. Он готов простить, даже когда его унижают. Он готов отдать, даже когда ему не дают ничего взамен. Он, если надо, отдаст жизнь. Мир этого не терпит. Мир живёт выгодой, страхом, силой. И потому ненавидит любовь. И боится её.

Он долго молчал. Потом заметил почти устало:

– Любовь – не чувство. Чувства рождаются и умирают. Любовь – решение. Тихое. Простое. Но, Господи, как тяжело ему быть верным! Это аскеза, но аскеза не монашеская – куда суровее. Ведь в монастыре ты один борешься с собой… а в мире – с ближним, с обстоятельствами, с собственной гордыней, которая шепчет: «Ты прав. Ты лучше. С тобой поступили несправедливо… не прощай».

Он улыбнулся грустно.

– Но я понял: любовь всегда растёт из раны. Из боли. Из внутреннего распятия. Никогда – из комфорта. Никогда – из покоя. Если человек хоть раз полюбил по-настоящему, он уже и в аду будет помнить об этом свете. Даже если тот, кого он любил, разбил его сердце.

Он посмотрел на меня так, что мне стало стыдно за всё своё мелкое, затаённое, скрытое.

– «Любовь долготерпит», – повторил он. – А терпеть мы не умеем. Терпеть – значит жить для другого. Это почти подвиг. Но ведь любовь – и есть подвиг. Самый обыкновенный, самый ежедневный, самый святой.

Он взял в руки потрёпанный томик.

– Вот тот каторжник… страшный человек. А поделился со мной хлебом – так, будто преподал мне урок Евангелия. Я с тех пор понял: снизу, с глубины человеческого падения, любовь иногда виднее, чем сверху. Там, где люди благопристойны, воспитанны, «добродетельны»… там часто пустота. А внизу – искра. И если ты помог ей вспыхнуть – воскреснет человек. Целиком.

Он закрыл книгу и сказал тихо, как молитву:

– Любить – значит не осуждать. И не считать себя лучше. И не смотреть сверху вниз. В тот миг, когда мы почувствовали своё превосходство, – любовь исчезла. Осталось самолюбие. А самолюбие – первый шаг к духовной смерти.

Настала тишина. Такая, что слышно было моё собственное сердце.

Потом он произнёс:

– Любовь… это присутствие Бога в человеке. Это Его дыхание. Его свет. В «Песни Песней» сказано: «…ибо любовь сильна как смерть». А я скажу: сильнее. Потому что только любовь может воскресить человека из внутреннего небытия.

Он улыбнулся – светло, кротко, почти отечески.

– Пойми, друг мой… всё на свете – суета. Всё. Кроме любви. Вот это – правда. Единственная. Если хочешь прожить жизнь не напрасно – учись любить. Не разом. Не подвигами. А потихоньку. Каждый день. Прости. Отдай. Потерпи. Не требуй. Не держи засов на сердце. Пусть войдёт.

Он поднялся, взял перчатки, и уже на пороге сказал:

– И запомни: любовь дана только смиренным. Гордому она не даётся – он не может вынести её веса. И потому она кажется такой редкой… а ведь она возле каждого. Стоит лишь открыть сердце – и она войдёт.

Так он говорил мне тогда – тихо, будто исповедовался.

И я понял: человек, который прошёл всю ночь своей души и сохранил способность любить – уже свидетель о Свете.

Письмо о гнилости души

Друг мой, я пишу тебе не для утешения и не для согласия, потому что именно утешением мы чаще всего прикрываем трусость, а согласием – предательство истины. Я пишу потому, что вижу, как в человеке может погибать душа без крика, без падения, без внешнего греха, – и это погибание страшнее всякого открытого безумия. Оно тихо, почти прилично, почти разумно. И именно потому от него труднее всего спастись.

Ты знаешь эту мысль – я уверен, что знаешь, – мысль осторожную, обволакивающую, почти ласковую: «Так уж вышло… обстоятельства… не я один… другие ведь живут и хуже». В ней нет дерзости, нет вызова Богу, нет бунта. И потому ты не пугаешься. А следовало бы. Потому что в эту минуту человек не падает – падение ещё можно заметить, – а начинает портиться. Не сразу, не резко, а как заражённая вода, которую продолжают пить, уверяя себя, что вкус почти не изменился.

Оправдание – вот имя этой болезни. Оно всегда выглядит благоразумным и потому кажется безопасным. Оно говорит: «Я не святой» – и этим освобождает от усилия; «все так живут» – и этим уничтожает личную ответственность; «я устал» – и этим превращает слабость в право. И вот уже человек не борется, не сопротивляется, не падает даже – он просто сдаётся, но сдаётся так тихо, что сам этого не замечает. Душа перестаёт быть полем битвы и становится складом компромиссов.

Самое страшное – это не грех, а онемение. Совесть сначала возражает, потом спорит

вполголоса, потом замолкает, и ты вдруг ловишь себя на ощущении спокойствия. Ты говоришь: «Мне стало легче». Но это не облегчение – это потеря чувствительности. Так отмирает нерв. И человек, не чувствуя боли, начинает считать себя здоровым, тогда как болезнь уже вошла в кровь.

Посмотри внимательнее: ты оправдываешь не зло – ты оправдываешь пустоту. Ты не делаешь дурного, но и не делаешь доброго, а именно это и губит. Ты проходишь мимо чужого страдания, называя это благоразумием; ты отказываешься от жертвы, называя её фанатизмом; ты откладываешь покаяние, уверяя себя, что «ещё не время». Так зло входит не с кулаками, а вежливо, почти дружески, и садится в самом центре души.

Ты начинаешь рассуждать. О причинах. О травмах. О детстве. О среде. И всё это – правда. Но правда, не доведённая до покаяния, становится ложью. Она перестаёт быть путём к исцелению и становится оправданием болезни. Человек начинает любоваться своим разложением, изучать его, почти ценить его сложность, и в этом есть что-то бесовское: понимание без решимости, ясность без воли, свет без огня.

Здесь и начинается то, что страшнее открытого безбожия. Человек ненавидит лицемерие – и живёт им. Он презирает ложь – и ежедневно пользуется ею. Он говорит о правде – но только о той, которая ничего от него не требует. Он хочет света – но не такого, который жжёт и разоблачает. Поэтому он выбирает полумрак, где всё видно наполовину и потому кажется терпимым. И в этом полумраке душа начинает договариваться с тьмой.

Скажи честно: не стала ли твоя рана частью твоей личности? Не превратилась ли она в тайное оправдание, почти в достоинство? «Я такой» – говоришь ты, и этим словом отрезаешь путь к изменению. Это и есть момент, когда человек перестаёт ждать спасения и начинает охранять своё повреждение, как нечто личное, почти священное.

Время здесь – союзник тьмы. Оно не пугает, не угрожает, не требует. Оно уговаривает. «Потом. Не сейчас. Когда-нибудь». И это «когда-нибудь» растягивается, пока внутри не образуется пустота, в которой уже нечему каяться, нечему болеть, нечему молиться. Человек остаётся внешне благопристойным, рассудительным, даже нравственным – и внутренне мёртвым.

Но если ты читаешь эти строки и чувствуешь страх, раздражение, внутренний протест – не спеши его заглушить. Это последнее сопротивление живого. Гниль ненавидит свет. Она требует оправданий, а не правды. Не оправдывай. Назови. Признай. Не объясняй своё падение – сделай шаг. Один. Пусть тяжёлый. Пусть унизительный. Пусть болезненный.

Ты не обязан быть чистым – это невозможно без лжи. Но ты обязан быть честным. Перед собой. Перед Богом, Которого невозможно обмануть рассуждениями. И если ты не отступишь, если выдержишь этот страх, – тогда, медленно, мучительно, но верно, душа начнёт выходить из мрака. Потому что тьма держится только до тех пор, пока её оправдывают.

В той же болезни, твой друг Ф.Д.

Безсовестные люди

Опять не спится, друг мой… Ах, не спится, не спится вовсе! Лежу в этой тьме петербургской, ворочаюсь, … и мысли… ну куда, куда от них деваться? Всё кружат, всё возвращаются к одному, к этому страшному, что жжёт душу: что же это такое – человек без совести? Не тот, кто борется с ней, кто мучается, корчится в огне своём, как мой бедный Раскольников, выстраданный до последней капли крови моей, – нет, нет! А тот… тот, кто пал давно, пал в

бездну – и даже не заметил, не дрогнул, живёт себе дальше в этой мёртвой, удобной, леденящей тишине внутри… Господи, Господи, страшно-то как, до слёз страшно!

Вижу их перед собой, этих людей моих, словно живых, дышат они, ходят, говорят со мной по ночам. Вот он, Пётр Петрович Лужин… Ах ты, Боже мой! Как он входит в комнату, как улыбается этой своей европейской, вылощенной улыбочкой, как он рассуждал о «целом кафтане», о разумном эгоизме своём – аккуратно, деловито, самодовольно до тошноты! Ты помнишь его, друг мой, помнишь? Для него другой человек – не брат во Христе, не образ Твой, Господи, не вечная душа, а просто вещь, ступенька к выгоде или помеха, которую надобно убрать. Нет в нём никакой вертикали, никакой лестницы: ни вниз, к стыду, к покаянию горькому, ни вверх, к свету Твоему, к благодати! Одна горизонталь проклятая – хочу, беру, мешаешь – уничтожу. И ведь не злодей он какой-нибудь бушующий, с ножом в руке, нет! Он тихий, он удобный, он в мягком кресле своём сидит, шампанское попивает по вечерам, будто день прошёл в тихой гавани. Если Бога нет, думает он в душе своей, то всё позволено – и позволено именно так: бухгалтерски, без лишнего трепета, без мук совести… А совести-то и нет! Нет её, друг мой, нет вовсе – или умерла давно от неупотребления. И вот в этом-то весь ужас, весь чёрный ужас: в этой тишине мёртвой, в этом самодовольстве холодном!

А Свидригайлов… Ох, друг мой, сердце щемит, разрывается, когда вспоминаю его! Ведь умён же был, умнее многих, умнее меня, грешного, – всё видел насквозь, и свою мерзость, и чужую низость, и всю эту грязь человеческую! И что же с того? Что пользы в уме этом остром, как бритва? Всё ему стало равно, всё безвкусно давно – добро ли, зло ли, лишь бы от тоски этой смертельной, метафизической отвлечься хоть на миг, хоть на новое ощущение! Совесть? Да что совесть для него – старая, пыльная игрушка, с которой он то поиграет притворно, то плюнет и засмеётся цинично, издевательски! Помнишь ты сон его страшный про девочку? Помнишь, как он объезжал те грязные заведения накануне? А конец… Нет, нет, не от раскаяния он в себя выстрелил, не от муки совести! От холода этого адского, от пустоты полной, что душу выжгла дотла, от леденящей скуки, где ничего уже не трогает, не жжёт! Вечность ему представилась не огнём геенским, а закоптелой деревенской баней с пауками по углам… Вот его ад, друг мой, вот настоящая кара – не пламя, а вечная, безнадёжная, безысходная скука! Всё испробовал, всё изведал – и остался ни с чем, мёртвый при жизни… Господи, помилуй нас, грешных, не допусти до такого!

А Фёдор Павлович Карамазов, этот шут гороховый, этот паяц мерзкий, этот… Ах, как вспомню – кровь в жилах стынет! Как он кривлялся, как низость свою напоказ выставлял, в похабных анекдотах своих захлёбывался, хохотал, хохотал до слёз! Нарочно, нарочно играл самую гнусную роль – лишь бы не заглянуть в себя настоящего, в эту пустоту страшную, невыносимую, в это «я», которое давно сгнило! Бежит, панически бежит от собственной души, растворяется в клоунаде своей, в гротеске, в шутовстве! Совесть не то чтобы отсутствует – нет, он её пародирует, выворачивает наизнанку, превращает в часть своего похабного спектакля – и хохочет, хохочет, а за хохотом этим – ужас, ужас смертный перед тишиной, перед встречей с самим собой!

И Ставрогин… О, друг мой, это уже… это уже почти трагедия высшая, почти демоническая красота! Была в нём сила необычайная, красота была, и ум, и даже вспышки тоски по цельности утраченной, по чему-то настоящему, живому! Но нет, нет, нет! Воля к одиночеству этому проклятому, к самоутверждению абсолютному – оказалась сильнее всего! Всё испытывал: идеи, чувства, людей, души человеческие – как ощущения новые, и всё вёл в ту же ледяную пустоту, в то же ничто холодное… Исповедь его у Тихона – крик это, крик души, которая уже ничего, ничего не чувствует, даже боли раскаяния, даже стыда!

Что их всех связывает, скажи ты мне, друг мой, скажи скорее? Один корень, один страшный

корень: добровольный отказ от со-бытия, от той нити святой, тонкой, что связывает нас с другим как с вечной, бесценной душой, как с братом во Христе! Совесть – это голос любви это, голос ответственности перед Тобой, Господи, и перед каждым человеком! А они рвут, рвут эту нить в корне – и становятся люцеферами, одинокими, замкнутыми вселенными, мёртвыми внутри! Самоубийство души – вот что это такое, медленное, тихое, невидимое… Могут жить долго: один – в довольстве своём, как Лужин, другой – в скуке адской, как Свидригайлов, третий – в шутовстве своём, как Фёдор Павлович, – но угасают, мертвеют постепенно, теряют всё живое…

Есть ли выход, друг мой, есть ли хоть какой? «Пришед же в себя», как в притче о блудном сыне… Со Христом и самый падший, самый мёртвый оживёт, станет человеком вновь! А без Него… страшно, страшно сказать – остаётся лишь окаменелая душа, к которой и прийти-то уже не к чему, нечем!

… Не дай Бог, не дай Бог нам такого конца!

Осенние вечера

«Страдание – великая вещь. Знай, что ничто на свете не достаётся без него.

Без страдания не познаешь ни правды, ни любви, ни Бога».

Послушай, друг мой… Когда я думаю о страдании, сердце сжимается, будто в нём отзывается давняя, неумирающая боль. Страдание – это слово, знакомое каждому, но кто из нас по-настоящему вглядывался в его глубину? Мы произносим его легко, как нечто обыденное, а между тем в нём заключена целая бездна, в которой человек, желая того или нет, становится странником. Ты заметил, как странно устроена наша природа? Мы все стремимся к счастью, мечтаем о покое, о радости, – и вместе с тем будто сами приглашаем страдание в свой дом, словно чувствуем, что без него не обойтись, что без него счастье останется игрушкой, безжизненной и пустой.

Когда я гляжу на людей, меня не покидает мысль: почти каждый из них носит в себе тайную боль, невыносимую, но привычную. У одного – утрата, у другого – разочарование, у третьего – усталость души, которую не заметит никто. И я знаю эту боль, потому что сам проходил её до дна. Она разрывала душу, бросала в бездну отчаяния, – но всякий раз, дойдя до края, я вдруг открывал в себе новое дыхание, как будто в самом страдании живёт какая-то сила, тайная, живая, ведущая не к гибели, а к прозрению.

Ты спрашиваешь – что же стоит за страданием? Оно, друг мой, не только разрушает, но и созидает. Оно – огонь, очищающий душу от лжи и самодовольства. В его жаре плавятся маски, рушатся обманчивые опоры, – и человек остаётся один, наг, без защиты, лицом к лицу с истиной. Вот тогда-то и рождается в нём настоящее. Ведь только страдая, человек начинает видеть – не глазами, а сердцем. В радости мы живём поверхностно: смеёмся, радуемся, но не знаем, кто мы. А страдание срывает покровы, заставляет всмотреться в глубину, где всё настоящее и страшное, и прекрасное.

Вспоминаю Соню Мармеладову… Какое это дивное, тихое страдание! Вся жизнь её – унижение, грязь, позор, но ведь именно там, в бездне унижения, раскрылась её святая душа. Она страдает не только за себя – за всех, кто пал, кто потерял надежду, за тех, кого никто не пожалел. И в этой жертве, в этой боли, что принята без ропота, она становится сильнее всех вокруг. Мир не видит её света, а между тем он сияет – не земным блеском, а светом кроткой любви.

А рядом – Раскольников. Его страдание – иное, гордое, мучительное. Он бунтует, хочет оправдать зло, ищет правду в рассудке, но находит только мрак. И всё же, пройдя через муку, через раскаяние, он познаёт то, чего никогда не постиг бы умом: что истина не в силе, а в смирении, не в гордости, а в любви. Он падает – и в этом падении очищается. Таков закон: чтобы воскреснуть, нужно умереть для самого себя.

Ведь страдание, если оно принято, – есть крест. И каждый из нас несёт свой крест. Но важно, с чем мы его несём: с ропотом или с верой. Без веры страдание становится бездной: человек замыкается, темнеет, его боль превращается в яд. Сколько таких душ вокруг – измученных, потерянных, не способных взглянуть к небу! Но вера – о, вера! – она превращает боль в путь, в очищение, в свет.

Иногда я думаю: можно ли быть по-настоящему добрым, если не страдал? Нет, не можно. Кто не познал боли – не поймёт чужой. Кто не плакал, тот не умеет утешать. Страдание открывает в человеке источник сострадания, а без него нет любви. Потому и сказал старец Зосима: «страданием достигается знание». Знание не книжное, не умственное – знание сердца, знание живого Бога в себе.

Но не забывай, друг мой: страдание – не самоцель. Оно – путь. Если человек не ожесточится, если примет боль со смирением, тогда страдание превращается в силу, которая очищает и возрождает. Как металл в горниле очищается от примесей, так и душа в огне страдания очищается от гордыни, лжи, суеты. И выходит из него обновлённой, тихой, светлой.

Посмотри на князя Мышкина – его страдание есть чистота; на Ставрогина – его мука есть суд над гордыней; на старца Зосиму – его слёзы – любовь, пролитая за весь мир. Каждый из них прошёл через боль, чтобы обрести свет. И каждый из нас – их брат по страданию.

Да, страдание темно, мучительно, как ночь без звёзд. Но если всмотреться в эту тьму, в ней зреет заря. Свет не тот, что ослепляет радостью, а тихий, смиренный – как после грозы, когда воздух прозрачен и земля пахнет жизнью. В этом свете – не восторг, а покой. Не гордость, а вера.

И тогда душа слышит: всё имело смысл. Каждая боль, каждая слеза, каждая потеря – не случайность, а ступень. И смысл этот – не в страдании самом, а в том, что через него мы становимся людьми. Настоящими. Способными любить, сострадать, прощать.

Так страдание становится благословением, даром, ведущим к воскресению. И если ты примешь его не как проклятие, а как путь, – тогда даже тьма, пролитая твоими слезами, станет светом.

«Любить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно.

Но всё же это закон, к которому должно стремиться, и в этом – преображение души».

Послушай, друг мой… Есть слово, от которого душа вздрагивает – преображение. Сколько в нём света, сколько тайны! Оно словно утренний луч, что вдруг пробивается сквозь мрак человеческого существования – не ослепляя, а зовя. Это слово манит и пугает, потому что в нём заключена великая перемена – не внешняя, не житейская, а внутренняя, та, что совершается в сердце, когда старое «я» умирает, чтобы уступить место новому.

Знаешь, с чего начинается это преображение? Не с победы, нет, – с падения. Человек вдруг видит себя таким, каков он есть на самом деле: нищим, холодным, бессильным любить, отдалённым от Бога. Всё, чем он жил, – рассыпается, всё привычное – становится чужим. И

именно здесь, в этом обнажённом сознании своей пустоты, начинается первое движение: от внешнего к внутреннему, от гордости – к покаянию, от мнимого света – к настоящему.

Я часто думал об этом, глядя на Раскольникова. Сколь глубок путь его страдания! Разве не узнаём мы в нём самих себя, когда разум возомнил себя богом и захотел судить жизнь? Он хотел добра – своим умом, своей волей, но его добро родилось из гордости, а потому обернулось злом. И вот он падает – всё рушится, все основания размываются, и в бездне, где уже не остаётся ни правды, ни смысла, вдруг начинает пробиваться первый свет. Этот свет – не знание, не вывод, не теория, – а чувство, почти больное, что жизнь есть жизнь, и что она свята сама по себе.

Ты помнишь, как в каторжных снах его мучили образы мёртвых детей, больных женщин, тех, кто страдал не за грех, а просто потому, что мир так устроен? Именно там, в этих снах, рождается в нём новое сердце. Оно ещё слабо, ещё не умеет любить, но уже тоскует по любви. И рядом – Соня, его кроткая сестра по страданию. В её слезах, в её тихом слове – прощение, и это прощение становится началом его воскресения. Там, где всё, казалось бы, кончилось, начинается жизнь.

Но есть и другая дорога – не через муку, а через любовь. Посмотри на князя Мышкина. Он не исправляет мир – он просто любит его, как есть. В нём свет Христов, но не как сила, а как кротость. Он никому не противится, не судит, не требует – он лишь страдает о каждом, потому что видит в каждом образ Божий. И этот свет его – такой тихий, что многие не выносят его. Он не возвышается, но именно этим ослепляет. Люди, привыкшие жить ложью, не выдерживают правды его чистоты.

Настасья Филипповна… Бедная душа! Сколько в ней боли, сколько унижения, но и гордости, и тоски по чистоте! Она впервые встречает человека, который любит её не за красоту, не вопреки греху, а просто так – потому что она есть. И пусть она не выдержала этого света, пусть снова упала, – но ведь на миг её сердце прикоснулось к вечности. И этот миг – уже победа, уже начало преображения. Ведь не всегда человек успевает измениться делом, но если хоть раз душа откликнулась на любовь – она уже не та, что прежде.

Так у меня всё сходится к одному: страдание и любовь – два крыла одного чуда. Страдание очищает, любовь оживляет. Одно выжигает ложь, другое наполняет пустоту. И если человек проходит через обе эти бездны, он становится новым – не потому, что победил, а потому что смирился.

Ты знаешь, что такое настоящее преображение? Это не моральная поправка, не исправление поступков, не перемена обычаев. Это рождение внутреннего зрения. Когда вдруг начинаешь видеть в себе и в других не только грех, но и возможность спасения. Когда можешь любить того, кто пал, – потому что сам познал падение и был прощён. Когда не отвращаешься от грязи, потому что видишь под нею лик, ещё не умерший, – и тогда в сердце твоём рождается сострадание, то самое, что есть дыхание Христа в человеке.

И совершается чудо – тихое, невидимое: из пепла вины вырастает росток милосердия, из скорби – радость, из смерти – жизнь. Это и есть преображение, то самое, о котором сказано на Фаворе, когда лик Христов засиял, и ученики пали ниц, ослеплённые не светом внешним, а светом внутренним, духовным. Так и в человеке: когда через боль и любовь прорывается этот свет, он падает перед ним, теряет себя прежнего – и восстаёт другим.

Ведь Бог не требует от нас совершенства – Он ждёт смирения. И когда человек, измученный, израненный, вдруг говорит: «Господи, не могу, но Ты можешь», – вот тогда и совершается

преображение. Не внезапно, не громко, а тихо, как рассвет после долгой ночи.

И, может быть, в конце этого пути, пройдя через страдание и любовь, человек скажет вместе с моими героями:

«Теперь я живу, потому что люблю; и страдание моё стало светом».

Вот она – тайна человеческой души, тайна её обновления. Не в силе и не в знании, а в сердце, расплавленном болью и зажжённом любовью. И когда этот огонь осветит хотя бы одну душу – уже не напрасно было всё.

«Милосердие есть высшая идея человечества,
и, быть может, в нём-то и заключено всё предназначение человека на земле».

Послушай, друг мой… Есть слова, которые, кажется, не придуманы человеком, а будто принесены откуда-то свыше, из того мира, где всё – правда, и сердце говорит прямо. Одно из таких слов – милосердие. Я не раз думал о нём, – и чем больше размышляю, тем глубже вижу: в нём, может быть, и заключается всё предназначение человека на земле. Ведь милосердие – это не просто добродетель, не закон и не долг, а нечто древнее, чем разум, ближе, чем чувство, – это дыхание самой души, отзвук Неба в человеке.

Мы можем скрывать его, смеяться над ним, считать слабостью, – но стоит только увидеть страдание, и оно просыпается в нас, как забытая песня. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза человеку, потерявшему надежду, знает этот внутренний трепет: душа вдруг колеблется между жалостью и холодом, любовью и страхом. Ведь милосердие требует мужества – оно делает сердце уязвимым, открывает его там, где легче было бы пройти мимо, не замечая, не чувствовать. Но именно тогда, когда ты останавливаешься, когда не проходишь мимо – тогда человек становится живым.

Я часто вспоминаю Соню Мармеладову… Вот светлая душа. В этом свете нет гордости, нет расчёта – только сострадание, такое глубокое, что оно уже не принадлежит ей одной. Она идёт за Раскольниковым на каторгу не из жалости, не из жалобной любви, а потому что в ней живёт Христос – тихий, кроткий, милосердный. В её молчаливом подвиге – больше веры, чем во всех богословских рассуждениях. Потому что вера без милосердия мертва, а милосердие без слов уже говорит о вере.

Знаешь, как часто я сам чувствовал: вот чужая боль рядом, зовёт, требует отклика, – и вдруг в сердце поднимается страх. «А вдруг меня обманут? А вдруг это не моё дело? А вдруг я слишком слаб?» И в этот миг зарождается равнодушие – не из злобы, нет, а из малодушия. Мы боимся быть добрыми, потому что добро делает нас беззащитными. Мы прячем сострадание, будто оно мешает жить, и незаметно душа черствеет, как хлеб, забытый в пустом доме.

А ведь без милосердия человек теряет не только ближнего, но и самого себя. Душа без сострадания – уже не душа, а пустая скорлупа. Милосердие не терпит расчёта: стоит только захотеть «правильно» помогать, ждать благодарности или пользы, – и оно умирает. Истинное сострадание – как дыхание: оно просто есть, и в нём жизнь.

Ты посмотри на мир – как он охладел! Люди говорят о прогрессе, о правах, о справедливости, но всё это – без тепла. Справедливость без милости становится судом, а правда без любви – насилием. Да, мир холоден, но всё же я вижу – милосердие не исчезло. Оно живёт в простых, невидимых жестах: кто-то помог упавшему, кто-то выслушал отчаявшегося, кто-то просто не осудил. Никто не замечает этих мгновений, а ведь, может быть, именно они удерживают землю от падения в бездну.

Иногда мне кажется, что Господь судит нас не по великим делам, а по тому, сколько в нас осталось сострадания. Милосердие – не украшение души, а её дыхание. Без него всё – мертво: знание, разум, даже вера. Ведь кто умеет сострадать – тот уже стоит ближе к Богу, чем тот, кто много рассуждает о добре.

И не думай, что милосердие – удел мягких, слабых. Нет, оно требует силы духа. Быть милосердным – значит иметь мужество быть открытым. Ведь когда ты сострадаешь – ты впускаешь чужую боль в своё сердце, и она начинает жить в тебе. И всё же именно в этом страдании за другого рождается истинная жизнь.

Вспомни старца Зосиму: он учил, что каждый человек виновен перед всеми за всех. В этих словах – великая правда. Милосердие начинается там, где исчезает осуждение. Ведь осуждая – мы отделяем себя от других, а сострадая – соединяемся с ними, как члены одного тела. И тогда уже не важно, кто виноват, – важно, чтобы кто-то любил.

В каждом акте милосердия мы приближаемся к подобию Божию. Ведь Бог не карает – Он жалеет. Не судит – плачет о человеке. И если в нас просыпается хоть капля такого чувства, значит, в нас ещё жив Его образ.

Да, мир груб, сердца ожесточены, но всё же, друг мой, я верю: человечество ещё не погибло. Пока где-то мать молится за сына, пока кто-то, не задумываясь, делится последним куском хлеба, пока кто-то просто не отвёл глаз от страдающего – живёт на земле Христово дыхание.

Может быть, именно эти крошечные, невидимые миру искры добра и удерживают нас от окончательного падения. Ведь милосердие – это способ любить. И, быть может, единственный путь, который ведёт нас домой – к Тому, Кто есть сама Любовь.

Так, когда ты почувствуешь чужую боль – не отступай. Пусть сердце твоё дрогнет, пусть заболит – это и есть жизнь. Ведь в этот миг ты становишься тем, кем должен быть: человеком, созданным по образу Милосердного. И, может быть, именно этим тихим плачем сердца и спасётся мир.

«Что есть вера, если не подвиг души, готовой видеть свет во тьме?»

Что есть вера? Как понять её истоки в человеческой душе? Казалось бы, вера – это дар, ниспосланный свыше, не требующий усилий. Но истинная вера – не безмятежное обладание, а постоянное усилие духа, борьба, тревога, преодоление.

Вера рождается не в покое, а в буре. Не в радости, а в страдании.

Вера – не слепое принятие, как думают многие, но внутренняя драма человека, стоящего между небом и землёй. Это путь, где разум, сердце и воля постоянно сталкиваются, и каждый шаг даётся ценой сомнения.

Авраам поднимал нож над сыном – и в этот миг его вера была страшнее всякого неверия, ибо в ней горело предельное доверие, где любовь к Богу превзошла любовь к самому себе.

Часто говорят о «чуде веры», будто она приходит внезапно, ослепительно, как молния. Но чаще вера – это тлеющий уголёк, который не даёт душе окончательно замёрзнуть в ночи страдания. Она не избавляет от боли, а учит нести её.

Иногда вера похожа на падение – в бездну, во мрак, где не видно ничего, кроме собственных стенаний. Но если человек не отступит, если удержится хотя бы за одну нить доверия, –

именно там, в бездне, загорается свет.

Разве не так было с Алёшей Карамазовым, когда умер его наставник старец Зосима? Мир его веры рушился, тело гнило, как будто сама святость обернулась тлением. И Алёша стоял на грани отчаяния.

Но именно в этой минуте, когда казалось, что всё кончено, он вдруг пал ниц, и из глубины скорби родилось не сомнение, а откровение: «Весь мир свят, потому что в нём живёт любовь».

Так вера воскресла не через чудо, а через страдание. Она не спустилась с неба – она выросла из праха, как росток из могильной земли.

Такова и вся природа веры: она требует гибели старого человека, чтобы родился новый. Вера – это шаг над бездной, когда рассудок молчит, а душа говорит: «И всё же верю!»

Пётр ступил на воду и пошёл к Христу – но стоило ему усомниться, как волны поглотили его. Так бывает с каждым: вера держит нас лишь тогда, когда мы забываем о себе.

Святые и мученики – не те, кто верили без тени сомнения, а те, кто, сомневаясь, не перестали искать. Их вера не была лёгкой, не была утешением. Она была крестом, несомой до конца, – и потому стала светом для мира.

И в этом парадокс: вера не освобождает от страдания, но делает страдание осмысленным. Через боль человек узнаёт Бога, а через отчаяние – надежду.

Вера – это не победа над сомнением, а хождение рядом с ним.

Это горение сердца посреди холода. Это доверие, что даже тьма имеет смысл.

И, быть может, именно потому вера – не просто добродетель, а дыхание души, соединяющее нас с Вечностью.

«Судья – совесть. Её не обманешь»

Страшный суд… Всякий человек хоть раз задумывался о нём, и всякий содрогался в глубине души. Ах, как страшно жить с мыслью, что наступит этот час, когда всё тайное станет явным – все наши мысли, желания, поступки, и даже те, что мы тщательно прятали даже от самих себя, будут обнажены перед Лицом Божиим! Но страшнее всего то, что этот суд – не где-то там, в конце времён, а здесь, внутри нас.

Страшный суд – это не только суд Божий, но и суд совести. Бог не столько карает, сколько раскрывает перед человеком правду. И вот тогда исчезают все оправдания, все привычные слова: «так сложилось», «все так живут». На суде истины человек стоит один – без свидетелей, без соучастников, без масок.

Взгляд Бога – не взгляд обвинителя, а взгляд, от которого невозможно скрыться. Это взгляд любви, но именно потому он страшен, ибо любовь видит всё и прощает только тому, кто готов быть обнажённым перед ней.

Вспомним слова старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»:

«Не судите никого, не обвиняйте. Виновен я один пред всеми, и за всех. Это и есть страшный суд: когда человек сам себя осудит и поймёт, что хуже всех».

Вот она, великая тайна суда – каждый человек судит сам себя. Не Бог произносит приговор, а душа, увидевшая себя в свете Божием, уже не может оправдаться. Страшен не гнев Божий – страшна истина о нас самих.

Человек привык судить других и миловать себя. Мы живём, прячась за ложь, за внешнее благочестие, за привычные оправдания. Но на суде совести не будет больше оправданий – там всё станет предельно ясно. И вот тогда откроется, кто мы есть.

Так было и с Иваном Карамазовым. Его ум отрицал Бога, но сердце не выдержало правды, которую он сам вызвал. Суд над отцом стал судом над ним самим. В глубине его души, в страшном бреду, ему явился черт – не как злобное чудовище, но как воплощение его собственной лжи, его внутреннего саморазрушения. Иван увидел свой собственный суд – суд без слов, где правда стала пыткой. И ведь это был не загробный, а земной суд. Так бывает с каждым, кто слишком долго живёт в самообмане: суд приходит в виде безумия, тоски, пустоты.

Ведь Страшный суд начинается не тогда, когда архангел возгласит трубы, а тогда, когда человек впервые слышит голос совести. Когда душа сталкивается с вечностью – не где-то после смерти, а уже здесь, в каждом решении, в каждом слове. Совесть – это тихий прообраз Страшного суда.

И потому смерть – не враг, а откровение. В момент смерти человек видит всю жизнь свою не глазами привычки, а глазами правды. Тогда рушатся все маски, и душа предстаёт обнажённой – не перед Богом только, но и перед собой. Это и есть истинный суд: суд очищения, суд правды.

Но в этом ужасе скрыта великая надежда. Бог судит не для того, чтобы наказать, а чтобы очистить. Его суд – не от мести, а от любви. Он – врач, а не палач. И тот, кто готов признать себя виновным, кто может сказать: «Я хуже всех», – уже освобождён.

Страшный суд – это не конец, а новое начало. Это миг, когда душа, пройдя через огонь правды, очищается и становится способной к свету.

Только пройдя через этот суд, человек может воскреснуть – не телом, но духом.

И, может быть, тогда Страшный суд перестанет быть страшным.

Потому что в нём откроется не гнев, а любовь; не конец, а возрождение.

Ибо «всякий, кто познал правду о себе и не возненавидел её, но принял с покаянием, тот уже спасён».

«Обиженные люди – самые подозрительные и мстительные;
им кажется, что их всегда недооценивают и обижают».

Что такое обида? Кажется, чувство простое и до боли знакомое каждому. Душа словно откликается на несправедливость, на оскорбление, на удар, нанесённый нашему самолюбию. Но стоит всмотреться внимательнее – и мы увидим, что обида не так уж проста. Это не просто ответ на чужое слово или поступок, а тайная тень, живущая в глубине сердца.

Обида – это обвинение. Но кого мы обвиняем? Другого? Судьбу? Бога? Или, может быть, самих себя? В этом-то и кроется тайна: за внешней болью всегда прячется внутренний надлом, где наше «я» не может смириться с тем, что мир не соответствует его ожиданиям.

Человек, обиженный, чувствует себя жертвой. Ах, как сладко быть обиженным! Можно

обвинять, требовать справедливости, чувствовать своё моральное превосходство. Обида будто даёт нам право быть правыми – и именно в этом её коварство. За внешней обидой почти всегда скрыта гордыня. Мы страдаем не столько от поступка другого, сколько от того, что нас не оценили, не поняли, не возвысили.

Обида – это всегда протест против реальности. Душа не хочет принять, что жизнь течёт по своим законам, а не по нашим меркам. Мы воздвигаем внутри себя идола из собственного «я» и поклоняемся ему, защищая его от всякого прикосновения. Но пока этот идол стоит, пока мы бережём свою «правоту», душа не знает покоя.

У Достоевского это чувство раскрыто с поразительной силой. Вспомним Алёшу из «Униженных и оскорблённых». Его страдание – не только от любви без ответа, но и от обиды, от горечи унижения. Алёша мучается не поступком другого, а своей неспособностью простить. И лишь когда он осознаёт, что обида делает его похожим на тех, кто его унизил, начинается пробуждение души. Так и в нас: не сама обида убивает, а согласие жить в ней.

Ещё страшнее эта страсть в человеке подполья из «Записок из подполья». Его обида стала смыслом жизни. Он воздвиг из неё целый храм, в котором сам служит себе. Он наслаждается своей униженностью, потому что она даёт ему ощущение превосходства. Это – гордая, ядовитая обида, из которой вырастает самооправдание и духовная смерть.

Но, пожалуй, глубочайший образ обиды Достоевский даёт в «Записках из Мёртвого дома». Там, среди каторжников, он видит, как обида становится почти религией человеческой тьмы. Каждый заключённый – человек, до предела уязвлённый. Их обида на жизнь, на власть, на людей – страшная, накопленная годами, она сжала их души, как железный обруч. Один из каторжников сказал писателю: «Мы все тут обиженные… только каждый по-своему». И Достоевский понял: эта обида – яд, который держит человека в оковах даже тогда, когда цепи уже сняты. Ведь человек, не простивший мира, остаётся узником своего сердца.

Обида разъедает душу, как ржавчина железо. Чем дольше мы её носим, тем глубже она проникает, превращаясь в злобу, в тайное презрение, в желание мстить. Но страшнее всего то, что обида не разрушает тех, кто нас обидел – она разрушает нас. Мы становимся пленниками своего страдания, рабами собственных чувств.

Почему же человек боится отпустить обиду? Потому что простить – значит признать свою уязвимость. Значит, смириться с тем, что мир несправедлив, что в нём есть боль и недоразумение, и что не всё можно исправить. Обиженный человек не хочет этого признания – он цепляется за боль, как за свидетельство своей чистоты. Но ведь именно это и есть величайшая ловушка.

Человек, держась за обиду, отдаляет от себя жизнь. Его сердце закрывается, его взгляд становится холодным, его слова – полны скрытого укора. Он вроде бы живёт, но всё в нём окрашено одной тенью – тенью прошлой боли. Так рождается одиночество, то самое, о котором писал Достоевский: «Один я виноват, а всё-таки обиделся». В этих словах – вся трагедия человеческого сердца: нежелание признать, что источник боли – в нас самих.

Можно ли выйти из этого круга? Да, но путь один – прощение. Не внешнее, не великодушное жестом, а внутреннее, молчаливое, когда человек склоняет голову и говорит: «Господи, я сам создал эту боль». Тогда сердце начинает исцеляться. Тогда исчезает необходимость быть правым. Тогда даже память о боли становится тихой, как о пройденном пути.

Обида – это иллюзия справедливости. Она внушает нам, что мир должен соответствовать

нашим ожиданиям. Но когда мы перестаём требовать от мира того, чего он дать не может, – приходит мир душевный, тот самый, о котором Достоевский писал, что он выше всякого разума.

И потому путь человека, ищущего правды, не в том, чтобы доказать свою правоту, а в том, чтобы отказаться от неё ради любви. Только тот, кто сумел простить, – по-настоящему свободен. Ведь свобода – это не отсутствие оков, а умение не носить их в сердце.

«Кротость – не рабство духа, а высшая свобода».

Кажется, что это слово утратило смысл в наш век напряжения и властолюбия. Кто ныне ищет кротости? Мир чтит силу, успех, дерзость. Кроткий же представляется слабым, беспомощным, неспособным постоять за себя. Но Христос сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Значит, в этом слове – тайна, парадокс, который открывается лишь сердцу.

Кротость – не бессилие, а внутренняя сила, скрытая, как подземный родник. Это не отказ от борьбы, а победа – над самим собой. Быть кротким – значит удержаться от гнева тогда, когда всё внутри требует воздать. В этом и заключается величайшее усилие духа. Кто победил свой гнев – тот уже не раб страстей, а властитель самого себя.

Макарий из «Подростка»: старец, над которым насмехаются, не оправдывается, не гневается, но одним смирением своим посрамляет гордыню. Или князя Мышкина из «Идиота», – человека, которого мир сочёл «идиотом» именно за его кротость, за то, что он не умел защищать себя. Но разве слаб тот, кто способен смотреть на ближнего глазами любви, а не осуждения? В каждом его слове – сила не человеческая, а евангельская: он побеждает не спором, а присутствием, не доводом, а сердцем.

Совсем иное – Ставрогин из «Бесов». В нём нет ни капли кротости, хотя есть ум, сила, власть над людьми. Но его душа мертва. Он утратил способность смиряться, и потому не может жить: в гордыне своей он отверг не только Бога, но и самого себя. И это – страшный антипод кротости: гордый человек погибает от внутреннего мрака, ибо не умеет склонить головы даже перед истинной.

Я видел в кротости последнюю надежду человечества. Не внешняя сила спасает мир, а способность прощать, терпеть, не мстить. В «Записках из мёртвого дома» узники, измученные и ожесточённые, впервые обретают человечность, когда кто-то молча перекрестится и не ответит злом на зло. Там, в аду человеческих страданий, кротость становится светом. Не случайно его герой иак парадоксально и точно говорит: «Даже в самом падшем человеке, даже в том, кто кажется уже окончательно погибшим, живёт потребность человеческого достоинства, живёт жажда света».

Кротость – это тишина сердца, рождающаяся из веры. Она не слепа, не безвольна, она знает: всё в руках Божиих. Кроткий человек не ищет справедливости своей, потому что доверяет высшей справедливости. Он свободен от тревоги, потому что не ставит себя мерилом мира. И эта свобода – великая, почти непостижимая.

Вспомни Алёшу Карамазова: он не спорит, не доказывает, не возмущается. Он просто живёт по истине, и этим обличает ложь. Его сила – не в красноречии, а в чистоте сердца. В нём выражен тот образ христианской кротости, который Достоевский видел как надежду на возрождение России: не через революции, не через насилие, а через внутреннее преображение.

Кротость – не покорность, а смирение перед Истиной, превосходящей человека. Она рождается из осознания, что мы – не центр мира. И потому кроткий не унижен, как думает мир, а

возвышен. Его не оскорбить по-настоящему, потому что он не живёт ради мнения других. Его достоинство – в Боге, а не в человеческой славе.

Кроткий человек отказывается от правды своей ради истины Божией. Он не утверждает «я прав», а ищет: «как бы мне быть правым пред Ним». И в этом – величайшая победа: победа над гордыней, над страхом, над жаждой возмездия.

Так и сказано: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Не потому, что им будет дана власть, а потому, что они уже здесь, на земле, нашли покой, которого мир дать не может.

Кротость – это сила духа, которая преображает и человека, и всё, что его окружает. Это тишина, в которой слышится голос Божий. И пока жив хотя бы один кроткий – мир ещё не погиб.

Оттого-то и страшен ныне мир, что утратил кротость. Везде шум, борьба, жажда самоутверждения – а тишины нет. Но стоит одному кроткому человеку появиться – и воздух вокруг очищается, как после грозы. Ибо кроткий несёт не идею, а присутствие; не власть, а свет. И если бы каждый из нас осмелился хоть на миг стать кротким – мир изменился бы без революций, без крови, без лозунгов. Он просто стал бы тише. А где тишина – там Бог.

«В человеке таится бездна, и если он взглянет в неё – содрогнётся».

Друг мой… как странно теперь, когда ты говоришь о своей внутренней муке, – я будто слышу давний, прекрасно знакомый голос. Да и как иначе? В каждом, кто хотя бы раз честно заглянул в себя, – повторяются те же самые глубины, один и тот же мрак, и те же вспышки света. Ты говоришь о терзании – и я вижу не абстракцию, нет, а живую душу, как у тех, кого я уже видел в жизни, в книгах, в самой человеческой тайне.

В каждом из нас – две силы, два начала, и одно тянет вверх, а другое – вниз. Возьми лишь Раскольникова. Умный, гордый, горячий – и вдруг падает в собственную бездну. И падает вовсе не потому, что хуже других, – нет, он-то, пожалуй, лучше многих. Но вот свобода дана – страшная, беспощадная свобода, – а вместе с ней и немощь. Так и в тебе: тяга к свету есть, это я вижу, но есть и страх, и слабость. И если тебе от этого больно – значит, ты на пути. Без боли – нет пути.

Да и посмотри на Мышкина: говорят, ангельская душа – а как он страдал! Не потому, что грешил более других, но потому, что видел глубже, тоньше; каждое зло отдавалось в нём болью. И всё же он не оставил доброго. Это ведь тоже борьба, только тихая. Кто сказал, что тихая борьба легче громкой?

А вот Ставрогин… о нём я думаю часто. Он ведь видел свою бездну, видел яснее всех – и не захотел бороться. И вот что бывает, когда человек не хочет бороться: бесконечное падение, бездна без дна. Ты же, слава Богу, не такой. Ты борешься. Пусть неровно, пусть срываешься, но борешься. Это уже многое.

Не думай, что внутренняя борьба – знак отверженности. Нет. Скорее это знак призвания. Бог, если уж коснулся сердца, не оставляет его в покое – вот отсюда и мука. Посмотри на Алёшу: вроде кроткий, простой, смиренный, а ведь в нём тоже буря могла бы быть – будь он иным. Но он выбрал доверие. И это доверие – не слабость, а мужество.

Ты спрашиваешь: что же делать, когда шторм поднимается, когда мысли – словно рваные клочки, и душа куда-то проваливается? А я скажу тебе – смириться. Да, странно, парадоксально: не бороться силой, а смириться. Разумом не удержишь – разум тут первый

бежит. Но сердце, когда склонится, – удержит. Скажи только: «Господи, веди меня». Не громко, не даже вслух – внутри. И тишина придёт. Тихая такая, как будто кто-то погладил душу.

И не стыдись своей слабости. В слабости-то и рождается сила. Вспомни, сказано ведь: «Сила Моя в немощи совершается». В человеке, который сам себя сильным считает, – ничего не совершается. А в слабом – совершается всё. Потому что он даёт Богу действовать.

Молись, друг мой. Да как угодно: сбивчиво, хрипло, с паузами. Это всё неважно. Главное – чтобы из глубины. «Помилуй меня» – и весь смысл уже тут. Как бывал я свидетелем – и в других, и в себе самом – что одна короткая молитва в слезах переворачивает душу сильнее, чем сто правильных слов.

Но слушай: не замыкайся. Это одна из самых страшных человеческих ловушек. В страдании человек становится слепым и думает, будто один. А рядом ведь люди – такие же раненые, такие же ищущие. Помогайте друг другу. Нести крест вдвоём легче – сам видел это множество раз. «Носите бремена друг друга» – так и должно быть.

Только не верь утешениям мира. Они кричат, обольщают, обещают тепло – а дают пустоту. Настоящее утешение тихо, и приходит оно не от людей, а от Бога. И иногда даже не как чувство, а как уверенность, что всё не напрасно.

И знай: ничего случайного нет. Ни одной минуты твоей борьбы. Ни одного твоего падения. Всё – в ткань твоей души вплетено. Возможно, сейчас ты видишь бессмыслицу, хаос, – а потом, спустя долгие годы, откроется, что именно в таких минутах душа становилась собой.

Если борьба длится – благодари. Это значит, что работа идёт. Худшее состояние – когда всё равно. Это уже холод души.

А теперь, в конце, скажу то, что хочется сказать тише… Знаешь, ведь вся эта внутренняя мука, все твои падения, слёзы, страхи, – всё это, если только не отступишь, – однажды обратится в свет. Да, свет, настоящий. Как у тех, кто прошёл через смерть себя – и воскрес сердцем. Я много видел таких мгновений: как будто занавес отдёргивается – и душа вдруг, внезапно, облегчённо вздыхает. И понимает, что страдание её – не пусто, не зря, что в глубине всего была Любовь.

Так и ты: не бойся. Иди. Терзание твоё – это и есть лестница вверх. И всякий шаг по ней – боль, но и очищение. И придёт миг, когда сердце твоё, измученное, но живое, внезапно скажет:

«Благ Господь… ибо милость Его во век».

И вот тогда – узнаешь, что всё было не напрасно.

Самые благородные способности человеческого сердца
– прощать и отплачивать за зло великодушием.

Друг мой.

…Да, я повторяю это ещё раз, потому что иначе не могу: самые благородные способности человеческого сердца – именно прощать и отплачивать за зло великодушием. Ты, может быть, усмехнёшься, – и не без права, – скажешь: «Но ведь кому же это дано? Где ты видел таких людей? Всё человечество – одна сплошная рана, каждый каждого заедает, и всякий ищет права своего, а не милости».

И всё же я скажу тебе: видел, видел – и, может быть, главным образом в тех, от кого меньше всего ждёшь.

Ты вспомни хоть Алёшу моего, – да, да, того самого, которого так не любят за его «ангельскую» простоту те, кто сам давно устал быть добрым. Говорят: нереален. Но я-то знаю, что он реален, потому что живёт в каждом человеке, только глубоко зарыт, как семечко под асфальтом: придавили его, да не убили. Алёша – это возможность человека. И если есть возможность, значит, есть и реальность, хоть и редчайшая.

Я ведь не о сентиментальности здесь толкую, а о страшной, требующей мужества, способности – прощать. Видишь ли, прощение – это вовсе не слабость, как любят уверять те, кто сам никогда не был сильным. Прощает не слабый, – нет! – слабый затаит, слабый запомнит на годы, слабый найдет тёмное удовольствие в своей обиде, как нищий, приставший к своей медной монетке.

Прощает только тот, кто способен удержать в себе боль, не вылив её обратно, не швырнув в другого, а – выстрадав, переродив, расплавив в собственном сердце. И вот когда расплавится – тогда и становится возможным великодушие.

Ты думаешь, великодушие – это жест, красивый, благородный, как на сцене? А я скажу тебе: нет, это – всегда кровь. Кровь духовная, конечно, но реальная, не образная. Чтобы простить, надо умереть в себе одной душе – той самой, злопамятной, обидчивой, самолюбивой, – и воскреснуть другой.

Разве не этим жил Митя Карамазов? Да, да, Митя, грешник, вспыльчивый, беспутный: ведь он-то как раз и понимал, что, проливая кровь, он убивает прежде всего себя. Потому-то и кричал: «Я виноват перед всеми!» – да без меры, да в горячке, но разве не было в этом всей истины о человеке? Несчастный, а уже – великодушный.

Понимаешь ли, в душе человеческой есть такой закон: чем глубже вина, тем сильнее жажда оправдания или жажда прощения. И вот тот выбирает первое, кто труслив; второе – кто смел. Просить прощения – труднее, чем обвинять другого. А прощать – труднее всего.

Ты можешь сказать: «Но ведь зло остаётся злом. Как же отплачивать за зло добром?»

Верно, зло – зло. Но человек – не зло. Человек – несчастье, слабость, падение, заблуждение. А добро – единственная сила, которая способна изменить самого человека, а не только его поступок.

Я наблюдал это множество раз. Не в книжной морали и не в отвлечённой философии, а в тюрьме, среди людей, разорванных жизнью, мрачных, опасных даже. Иные были так изломаны, что казались зверями, но стоило к кому-нибудь из них подойти с верой, не с подозрением, – и вдруг в нём что-то пламенем вспыхивало… Так ребёнок просыпается в преступнике, – и этот ребёнок, поверь мне, страшнее судьи. В нём – вся правда его падения.

Отплатить за зло великодушием – не значит оправдать зло. Никогда! Это значит – не давать злу победить в себе, не давать ему диктовать ответ. Ты обиделся – и хочешь ответить. Но ведь это и есть победа зла: теперь ты – продолжатель его дела.

А если ты остановился? Если ты сказал себе: «Нет, я сделаю иначе. Пусть в мире будет на одно зло меньше»?

Вот это и есть уже свобода. Вот это – победа духа.

Мир спасается – да, я скажу громко – вот так элементарно: один человек простил другого. Один не продолжил цепь возмездий, эту бесконечную, тысячелетнюю цепь ненависти.

Ты скажешь: редкость. Да, редкость. Но всё великое в мире совершается через редкости. Тьма – густая, а свет – один. Но одного света хватает, чтобы тьма уже не была тьмой.

Я видел, – и всё ещё вижу, – как человек, который простил, становится вдруг выше себя прежнего: как будто он внезапно открыл в себе нечто такое, чему сам удивился.

И, может быть, в эту минуту он ближе всего к тому, для чего рожден человек.

Пойми, я вовсе не жду от человечества идеального добра. Я не наивен. Но если в каждом сердце останется хотя бы один уголочек, где живет способность к великодушию, – значит, человек ещё не погиб.

А если эта способность исчезнет – исчезнет и человек. Останется только видимость, форма, пустой сосуд.

Поэтому-то я и сказал, и повторяю: самые благородные способности человеческого сердца – прощать и отплачивать за зло великодушием.

Потому что в эти минуты человек – не раб, не жертва, не цепь инстинктов, а существо, способное к свободе. И в этой свободе – его величие. И спасение.

Вот и всё. Или, может быть, и не всё – но больше сейчас не скажу. Только одно добавлю, тихо:

Береги в себе эту способность, если она у тебя есть.

А если нет – не отчаивайся, она может родиться через боль… но рождается.

Всегда.

Твой Ф.М.

«Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее!»

Господа! Дамы и господа! Ах, в какой миг, в какой страшный миг стою я перед вами с этой книгой в руках, с этим «Идиотом» моим, который вышел из души моей, как крик из бездны, как вопль человека, увидевшего всю наготу человеческую, всю ложь нашу, всю гордыню нашу, всю иллюзию нашу о себе самих! Сердце моё бьётся, трепещет, разрывается, потому что знаю: то, о чём я скажу ныне, не просто страницы романа, не просто история князя Мышкина, этого человека чистого, почти святого среди нас, грешных и падших, – нет, это суд над нами всеми, над душой русской, над свободой нашей, которая манит нас, как свет обманчивый, но жжёт, терзает, раздирает на части, если не готовы мы к ней, если не несем ответственности полной, страшной, невыносимой!

Позвольте мне сказать то, что не вошло в роман, но осталась как бы между строками, в нелоговоренности героев, чтобы вы почувствовали, чтобы вы сами пережили ту муку, ту боль, когда свобода совести становится не даром, а проклятием, когда человек, свободный внутри, корчится от этой свободы своей, как от цепей раскалённых. Вот, слушайте: князь Мышкин, этот идиот мой, этот Христос в мире нашем развращённом, он смотрит на нас, на всех нас – на Рогожина, на Настасью Филипповну, на Ганю, на общество петербургское – и видит: все мы

свободны в совести своей, никто не держит нас в цепях внешних, но эта свобода мучает нас пуще всякой каторги! Мы выбираем сами – лгать, унижаться, предавать, убивать душу свою и чужую, – и совесть кричит: «Ты свободен! Ты сам выбрал! Неси ответ!» Ах, господа, эти сцены – не выдумка, они вырваны из сердца моего, из тех ночей, когда я думал о человеке, о его падении и о той свободе, которая обольщает его, но разрывает, если не укреплена она верой, ответственностью, жертвой!

Но углубимся, господа, потому что тема эта жжёт меня, как огонь неугасимый! Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее! Да, да, скажу это жестко, без жалости, без прикрас, потому что правда должна резать по живому, должна разоблачать иллюзии наши сладкие, уютные! Свобода манит нас, как рай обещанный: «Будь свободен! Никто не принуждает тебя! Судья ты сам себе!» И человек бросается к ней, как к воде в пустыне, думает: вот она, воля истинная, вот жизнь без оков, без авторитета внешнего! Но о, как обманывается он в гордыне своей слепой! Свобода совести – это не лёгкость, не наслаждение, это крест тяжелейший, это ответственность, которая давит, ломает, терзает до крови, до крика!

Взгляните на героев моих, господа! Князь Мышкин – он свободен в совести своей, чист, как ребёнок, и эта свобода делает его «идиотом» в глазах света. Он не лжёт, не притворяется, не выбирает удобного – и мир отвергает его, травит, уничтожает! А другие? Рогожин – свободен в страсти своей, в ревности адской, и совесть мучает его до ножа, до убийства! Настасья Филипповна – свободна в унижении своём, в гордыне своей раздирающей, и эта свобода ведёт её к гибели, к трагедии страшной! Все они свободны – свободны выбирать зло, добро, ложь, правду, – и эта свобода становится пыткой, потому что без готовности к ответственности, без смирения, без жертвы она обращается в ад!

Я скажу вам жестко, без пощады: наше общество, наше время – оно жаждет свободы, кричит о ней на площадях, в салонах, в газетах, но готово ли оно? Нет! Человек хочет свободы без боли, без креста, хочет судить себя сам, но легко, поверхностно, оправдывая грехи свои, тщеславие своё, эгоизм свой! И вот парадокс страшный: свобода обольщает, обещает счастье, но приносит муку, потому что совесть не спит! Она просыпается ночью, она шепчет, кричит, бичует: «Ты свободен – значит, виновен! Ты сам выбрал падение своё!» И человек корчится, ищет спасения в вине, в разврате, в самоубийстве идеи – лишь бы заглушить эту муку!

В «Дневнике писателя» моём, который пишу я ныне, вернусь я к этой мысли, но здесь, перед вами, во время чтения этого романа, кричу я: свобода совести – дар Божий, но дар страшный, огненный! Если не примешь ты ответственности полной – за каждый помысел, за каждое слово, за каждую слезу ближнего, – она раздавит тебя, как пресс неумолимый! Вспомните Ипполита, этого юношу больного, который в исповеди своей кричит о свободе и о муке её – он свободен мыслить, сомневаться, бунтовать, и эта свобода доводит его до отчаяния, до выстрела!

Господа! Я стою перед вами, и голос мой дрожит, потому что знаю: каждый из вас носит в себе эту свободу, эту пытку! Вы думаете, в гостиных ваших, в интригах ваших, свобода лёгка? Нет! Она и здесь жжёт: в лжи светской, в тщеславии, в равнодушии к страданию ближнего! Человек обольщается: «Я свободен, я сам себе закон!» Но совесть просыпается и кричит: «Лжёшь! Ты не готов! Ответственность – цена свободы твоей!» И вот он бежит от неё, прячется в цинизме, в нигилизме, в идеях модных – лишь бы не нести крест этот!

Но нет, нет, господа! Скажу я с болью, с надрывом: свобода – путь к спасению, через страдание, через ответственность полную! Без неё человек – раб страстей, тень, призрак! В «Идиоте» моём вы увидите: даже среди падения, среди трагедии, свобода совести может

спасти, преображая через боль, через сострадание! Она мучит, да, но очищает, как огонь очистительный! Примите её, несите крест этот с князем Мышкиным моим, и тогда обольщение превратится в свет вечный, в красоту Христову!

Ах, как разрывается сердце моё! Кончаю я чтение это, но слова эти останутся: нет ничего обольстительнее свободы совести, но нет ничего мучительнее! Готовьтесь к ответственности, или она погубит вас! Спасибо вам, господа, за внимание – и да хранит вас Бог от иллюзий гибельных!

«Прежде чем осудить другого, суди себя;
ибо всякий ответит прежде всего за то зло, которое допустил в своём сердце».

Господин мой, присядьте же, присядьте ближе к печи. Нам необходимо тепло, ибо разговор наш требует не просто слов, а самого огня сердечного, иначе и подступиться к нему страшно. Вы вопрошаете – зачем? Зачем сей измученный, долговязый от житейских тревог человек, у коего и без того шея хрустит под ношей будничной, – зачем ему ещё и эта тягота, ежедневная, неусыпная – вера в Бога? Не утешение же, в самом деле? Не отраду ли ищет он, слабый? Позвольте мне, грешному, ответить не из учёных книг, но прямо из той бездны, что во мне самом клокочет, – ответить с тем огнём, что не согревает, но жжёт внутренности.

Начну с малого, с самого утра. Знаете ли вы, сударь, что такое – проснуться в своей каморке, в этой духоте тоски предстоящего дня, и вдруг, внезапно, всем нутром почувствовать, что ты не один? Не в том пошлом смысле, что семья рядом или люди на улице, – нет! А в том страшном и сладостном, что над твоею больной, смятенной головой стоит Некто. Некто, Кто видел все твои вчерашние падения, все подлые мысли твои, всю грязь твоей одинокой борьбы – и не отвернулся. Это не «поддержка», о нет! Это – удар молнии в самое сердце, разрыв, после которого человек встаёт с одра как бы заново рождённым. И так – каждый день! Каждое утро – маленькая смерть старому скоту в себе, и маленькое воскресение. Вот первая, самая насущная польза: она возвращает тебе жизнь, когда ты уже готов считать себя мёртвым.

Но вот день наш, будничный, пошлый. Идёшь ты по своим делам – на службу унизительную, по грязной улице, среди лиц ожесточённых. И внутри-то, внутри закипает всё: тот толкнул, сей соврал, третий взглянул так, что душу леденит. Страсти, эти невидимые палачи, хватают тебя за горло, душат. И что же? Безбожный остаётся с ними наедине, в четырёх стенах собственного черепа, как узник в каземате, и бьётся головой о стену собственного бессилия. А верующий… А верующий шепчет – не из учёности, а из последней глубины, как тонущий за соломинку: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, грешного». И эти слова – не пустой звук, не самовнушение труса! Нет, это меч. Меч, который вонзается в хаос твоих же страстей и разрывает его извне. Это вмешательство. И страсти, словно бесы, на миг отступают, ослабевает их хватка. Вторая польза, видите ли: вера даёт оружие против тьмы собственной, делает тебя не безоружным в этой подпольной войне.

А страдание… О, о страдании лучше молчать, но коль говорить – то без философий, ибо всякая философия перед живой болью – насмешка. Болит зуб – и весь мир есть злобная бессмыслица. Потерял последний грош – будто сердце из груди клещами выдернули. Жена пилит, беда навалилась, дитя умерло… Что тут думать? Что тут рассуждать? Это боль, голая, хищная, пожирающая смысл. И вот здесь-то безбожие окончательно и бесповоротно ломает хребет человеку. Оно нашёптывает в самое ухо, холодным дыханием: «Всё бессмысленно. Терпи, пока не умрёшь. И смерть – тоже бессмысленна». А вера… а вера кричит, перекрывая этот шёпот, кричит из последних сил: «Не зря! Не случайно! Тебе попущено сие не для уничтожения, а для спасения твоего, окаянного!» И боль – да, боль остаётся, она не исчезает, но перестаёт быть адом безнадёжным. Она становится крестом. А крест – единственный инструмент, которым

Бог, любя, возводит падшее создание к самому себе.

Дальше – страшнее. Самое страшное, от чего люди отводят глаза, боятся заглянуть. Каждый из нас, сударь, носит в себе целый ад. Каждый способен на такое, от чего содрогнулся бы, увидь это со стороны. Каждый носит в груди бездну, готовую поглотить. И если нет Высшего Суда, если нет этого всевидящего Ока, что смотрит прямо в твою душу даже в кромешной тьме, – что удержит тебя на краю? Совесть? Но совесть без Бога – лишь привычка, условность, воспитанная робость. А привычка – ненадёжный страж, когда на сердце опускается настоящая ночь, ночь безнаказанности. Бог же – не молчит. Он смотрит. И этим взглядом, одновременно строгим до ужаса и любящим до муки, Он и удерживает нас от последнего шага в пропасть. Вот ещё польза, самая практическая: вера спасает человека от него самого, от того чудовища, что дремлет в нём.

Но главное, самое непостижимое и простое – верующий никогда не бывает один. Никогда! Хоть в каторжной яме, хоть на больничной койке, хоть на самом краю могилы, ощущая её сырое дыхание. Он знает – не умом, а всем существом – что всё, что с ним ни творится, есть не слепой хаос, не игра слепых сил, а часть некоего страшного и великого плана Любви. И оттого он может любить самую жизнь – не жадничая, не обожествляя её, а принимая, принимая и в моменты света, и в часах кровавого пота. А безбожник – даже самый успешный, самый окружённый – всегда один. Один в своём удовольствии, один в своём страхе, один перед лицом собственной, неизбежной и окончательной, смерти.

Вы спросите: где же главная выгода? Самая осязаемая? Отвечу: в присутствии. Не в идее, не в моральном уставе, не в утешении – а в живом, реальном Присутствии. Господь стоит у двери сердца каждого, сударь, и стучит. Тихим, настойчивым стуком, который слышен лишь в минуты полнейшей тишины душевной. И если отворить – Он войдёт. Войдёт не как карающий судья из учебника, а как Тот, Кто знает всю твою подноготную, всю тьму твою, и всё равно – идёт к тебе.

И потому жизнь верующего – не идиллия. Нет, это часто адская мука, борьба и сомнения. Но это не пустыня. В беде он – не брошен на произвол судьбы. В радости – не ослеплён ею до самозабвения. В грехе – не впадает в окончательное отчаяние, ибо знает путь назад. В смерти – не сирота. Он живёт под этим Взглядом и в этом объятии, в объятии Того, Кто Сам прошёл через всю боль, всю тьму и саму смерть.

Взгляните на тех, кого описал один писатель, близкий моей душе. Князь Мышкин, например. Смотрел на людей – и они в нём, в его взгляде, вдруг видели в себе человека. Не потому что он был добряком, а потому что в нём светилась та самая тишина – Христова тишина. Или Степан Трофимович, грешный, пустой болтун, на смертном одре держащий Евангелие – и умиравший счастливым, ибо впервые почувствовал, что вся его беспутная жизнь была кем-то увидена, была кому-то дорога. Или тот самый каторжник, что, услышав слова о распятом Разбойнике, застонал: «Это за меня» – и переродился в миг.

Вот ради этого Присутствия – и стоит верить каждый день. Чтобы жить не в холодном, механическом одиночестве, не в беспорядке бессмысленных страстей, а в живой, жуткой и спасительной связи с Тем, Кто один дарует и смысл сей страшной жизни, и свободу от себя самого, и мужество встретить завтрашний день, и ту тихую, непонятную радость, что бывает порой на дне самой горькой чаши.

Так вот зачем, сударь мой. Чтобы жить – по-настоящему. Чтобы сердце, это поле битвы, не окаменело окончательно. Чтобы внутренний ад не восторжествовал. Чтобы боль не разъела душу до тла. Чтобы быть – увиденным. Чтобы любить – не себя в другом, а самого другого. Чтобы не умирать – каждый день, заранее, при жизни.

Вот… вот, кажется, и вся правда. Горькая, как полынь, и нужная, как хлеб.

Эпистолярии

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Rheinsprung 9

Basel, Schweiz

Достоевскому Ф.М.

Кузнечный переулок. дом 5, кв. 10

Санкт-Петербург, Россия

Друг мой Фёдор Михайлович,

Пишу тебе так, словно мы сидим напротив друг друга – ты с твоей горячей, бесконечно сострадательной русской душой, я – с моим суровым, выверенным до боли мышлением, стремящимся увидеть человека без покровов, без идеализации, без сладкого самообмана. Я хочу высказать тебе то, что давно вертится у меня в уме, всякий раз, когда я читаю твои строки о страдании, кротости и милосердии.

Ты говоришь о страдании будто о таинственном пути к очищению, к Богу, к тому внутреннему преображению, что совершается в сердце человека, если он только позволит боли пройти через себя и стать его учителем. Твои слова – не морализаторство, а горячая вера в смысл человеческих мучений. И хотя мой путь – иной, я понимаю, что именно это делает тебя мне близким: ты тоже не из тех, кто бежит от глубины. Ты смотришь страданию прямо в глаза.

Но позволь мне взглянуть туда по-своему.

Ты ищешь в страдании кротость и милосердие, будто человек, согнувшийся под тяжестью болезни или вины, способен вдруг увидеть свет, что ведёт вверх. Я же вижу в этой же самой боли испытание силы. Видишь ли, я подозреваю, что милосердие часто – лишь усталость от собственного внутреннего напряжения, страх перед своей же жестокостью, попытка заглушить тревогу перед той тёмной волей, что живёт в глубине каждого. Ты звучишь так, будто человек жалеет другого из любви; я же думаю, что часто он делает это из боязни взглянуть на самого себя, на своё бездонообразное «я».

И всё же, твои слова о милосердии мне не чужды. Когда ты пишешь о нём, в нём нет ни сентиментальности, ни сладкой гуманистической лжи. Ты описываешь милосердие как огонь, как подвиг, как ту внутреннюю ломку, что стоит человеку больших усилий. И тут я узнаю свою собственную мысль о преодолении: только ты хочешь, чтобы человек преодолел себя ради Бога, а я – чтобы он преодолел себя ради себя же, ради своего высшего становления.

Твои герои – давай скажем об этом прямо – давно захватили моё внимание. В них я нахожу то, что редко встречается в литературе твоего времени: психологическую правду, необработанную, как руду. Они страдают не потому, что мир жесток, а потому что они сами –

невыносимы для себя.

Возьми князя Мышкина. Ты называешь его идеалом христианской любви, почти живым воплощением кротости. Но что я вижу? Человека, столь доброго, что он становится опасным – для других и для самого себя. Его милосердие превращается в силу, от которой люди теряют равновесие. Он не понимает своей власти, своей способности разрушать не злым, а именно добрым. И это – трагично. В твоём князе я вижу то, что возникает, когда человек стремится быть выше всех страданий, но не знает, что его свет может ослепить слабых. Он – пример того, как кротость становится не величием, а слабостью, которая вызывает хаос.

Или твой Родион Раскольников. Ты ведёшь его через страдание к покаянию, к искуплению, к возвращению в человечность. Но давай спросим иначе: что, если в нём – не преступник, ошибшийся на пути к добру, а человек, который впервые услышал зов своей силы и испугался её? Он ведь убил не ради денег, а ради проверки собственной воли, чтобы узнать, способен ли он переступить через условности морали. Он хотел стать тем, кого я называю человеком, который умеет сказать: «Так хочу я!» – без оправданий, без чужих законов. Но он не выдержал тяжести собственного шага. Он пал не из-за преступления, а из-за того, что оказался слишком слаб для собственной же идеи. Это не победа покаяния; это поражение силы.

Ты заставляешь его смириться и найти утешение в любви Сонечки. А я вижу, как человек, возможно рождающийся к высшей форме существования, ломается и возвращается в тёплую клетку морали – туда, где ему безопасно. В этом – различие наших путей.

А Иван Карамазов? Он – почти мой брат по духу. Он не бунтует против Бога – он бунтует против мира как опыта ненужного, бессмысленного страдания. Но делает это честно, без покровов. Он – тот, кто осмелился взглянуть в бездну и не отвернуться. Он не ищет кротости; он ищет правду. Он стоит над пропастью и не хочет, чтобы кто-то удерживал его за рукав, говоря о любви. И тем он мне дорог. Но и он, подобно Раскольникову, не выдерживает тяжести своей же мысли. Его разум, лишённый поддержки внутренней силы, рушится. Его бунт – велик, но его дух – слабее его бунта.

И, наконец, твой Ставрогин – самый близкий мне из всех. Он – человек, у которого сила превратилась в пустоту, творчество – в отчаяние, воля – в саморазрушение. Он слишком высок, чтобы быть добрым, и слишком пуст, чтобы быть великим. Ставрогин – трагедия неудавшегося сверхчеловека. Он стоит почти в тех краях, куда стремлюсь я, но у него нет того внутреннего стержня, что позволит ему выдержать собственную свободу. Он не падший ангел твоей мифологии; он – неудавшийся Заратустра.

Так вот, Фёдор Михайлович: все твои герои страдают, и ты хочешь, чтобы их страдание привело их к смирению, к любви, к Богу. Ты хочешь их спасти. А я – хочу, чтобы человек стал сильнее своей боли, чтобы он поднялся выше неё, чтобы преодолел себя не вниз – в покаяние, а вверх – в становление.

Мне кажется, что часто добро, которое ты защищаешь, – просто маска страха. А кротость, которую ты воспеваешь, – скрытая капитуляция. И всё же должен признать: в твоём идеале есть своя высота. Ты не делаешь человека мелким. Ты хочешь, чтобы он вырос, но вырос в сторону света. Я хочу, чтобы он вырос в сторону силы. Но разве свет и сила – такие уж враги друг другу? Может быть, это лишь два пути к одному и тому же пику?

Ты зовёшь человека к Богу, я – к самому себе. Ты говоришь: «Смирись». Я говорю: «Встань». И всё же мы оба хотим одного – чтобы человек перестал жить в половинчатости, в самообмане, в мягких оправданиях. Чтобы он решился пройти через ночь своей души и не сломаться.

Ты хочешь, чтобы человек обрёл кротость. Я хочу, чтобы он обрёл мужество. Но нам обоим ясно: без страдания – он ничто.

Мне кажется, что наша невидимая полемика – не спор соперников, а разговор двух разных высот одной и той же горы. Ты веришь в вершину, что зовётся Богом. Я – в вершину, что зовётся человеком.

И всё же, возможно, это одна и та же вершина. Просто мы смотрим на неё с разных склонов.

Пиши дальше, друг мой. Говори о милосердии. Я буду сидеть рядом – и спрашивать: «Не слишком ли легко сердце утешилось этим словом?» И, быть может, в этой борьбе – твоей любви и моей силы – родится человек, который будет больше нас обоих.

Твой в страстном размышлении

Фридрих Ницш

Достоевский Ф.М.

Кузнечный переулок. дом 5, кв. 10

Санкт-Петербург, Россия

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Rheinsprung 9

Basel, Schweiz

Ehrwürdiger Herr Nietzsche!

Пишу Вам из глубины своей души, из того подземелья, где таятся муки и прозрения, коими отмечена вся моя жизнь. Вы, вероятно, не знаете меня лично – я, Федор Михайлович Достоевский, русский писатель, чьи романы, быть может, дошли до Вас в переводах, – но я слышал о Ваших идеях, о том дерзновенном вызове, который Вы бросаете миру в своих сочинениях. Говорят, Вы провозглашаете "смерть Бога" и зовете к сверхчеловеку, к тому, кто перешагнет через старые ценности, как через обветшалые руины. Ах, милостивый государь, как же это перекликается с моими собственными терзаниями! Я не раз размышлял о нигилизме, о том, как молодежь наша, зараженная европейскими веяниями, отвергает Христа и устремляется в бездну свободы без границ. Но позвольте мне, как брату по духу, поделиться с Вами мыслями, рожденными в страдании и молитве, – мыслями духовными.

Сначала о Вашем "Бог умер!". О, как я понимаю этот крик! Но Бог не умирает по нашей прихоти – Он живет в нас, в нашей совести, в той муке, которая не дает покоя. Вы говорите, что христианство – мораль рабов, что оно подавляет сильных, учит жалости как слабости. Но разве не в жалости, в сострадании к падшему брату таится истинная сила? Вспомните моего князя Мышкина в "Идиоте" – он, "положительно прекрасный человек", воплощение Христа в нашем мире, – он любит безусловно, жертвует собой, и мир зовет его идиотом. А ведь это и есть высшее предназначение: не властвовать, а служить. Ваш сверхчеловек, преодолевающий себя в

воле к власти, – разве не напоминает он моего Раскольникова, который решил, что "тварь дрожащая" имеет право на преступление ради "высшей цели"? Раскольников убивает старуху, мня себя Наполеоном, но совесть, этот голос Бога, раздирает его на части. Страдание приводит его к покаянию, к Евангелию под подушкой. Без Бога свобода – это ад, милостивый государь, это вечное одиночество в хаосе.

Психически я вижу в Ваших идеях глубокую правду о человеческой природе, но и великую опасность. Человек – загадка, как я писал в "Подполье": он жаждет свободы, но боится ее, ибо свобода требует жертвы. Вы зовете к amor fati, к любви к судьбе, к утверждению жизни во всей ее жестокости. Это близко моему пониманию страдания как очищения. В "Дневнике" я не раз говорил о человеке, который несет крест свой смиренно, и в этом – его величие. Но без Христа страдание становится бессмысленным, оно ведет не к возрождению, а к безумию. Ваш Заратустра танцует на краю пропасти, провозглашая вечное возвращение, – но что, если это возвращение без надежды на Воскресение? Я пережил эпилепсию, эти припадки, когда душа рвется к свету, а тело корчится в тьме. В такие моменты я чувствовал присутствие Бога, как миг вечности. А Вы? В Вашей философии я угадываю ту же муку: одиночество гения, отвергнутого миром. Но почему отвергать Спасителя? Христос – не тиран, Он – свобода в любви. "Великий инквизитор" в моем романе обвиняет Христа в том, что Он дал людям свободу, а они хотят хлеба и чуда. Вы, кажется, согласны с инквизитором: массы слабы, сильные должны править. Но нет, милостивый государь! Истинный сильный – тот, кто склоняется к слабому, как Христос мыл ноги ученикам.

Умоляю Вас: загляните в глубину своей души. В "Дневнике писателя" я предупреждал о европейском нигилизме, который заражает мир, ведет к революциям и крови. Ваш сверхчеловек – это апофеоз эгоизма, "человекобог", как я называл его. А что, если Бог не мертв, а ждет? Вспомните Легенду о Великом инквизиторе: Христос молчит, но целует старца – это любовь побеждает. Я верю, что в Вас, как в каждом человеке, таится искра божественная. Страдание, которое Вы принимаете как закалку, – это зов к покаянию. Не отвергайте его! В поздних моих размышлениях, в "Карамазовых", я показал: только через любовь, через жертву собой ради другого обретает человек бессмертие. Алеша Карамазов целует землю, обещая любить всех. Это не слабость – это сила Духа Святого.

Ах, если бы мы могли встретиться! Я представил бы Вам мир, где Бог ближе, чем в салонах Европы. Но коль скоро письмо – наш мост, примите его как братский укор и призыв. Не оставайтесь в одиночестве своей гордыни. Христос ждет. И если мои слова тронут Вас, то знайте: в страдании рождается свет.

С глубоким уважением и молитвой за Вас,

Ф.Д.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch